



АНАТОЛИЙ ДРОЗДОВ

ОТ ВОСЕМНАДЦАТИ И СТАРШЕ





Анатолий Федорович Дроздов — молодой белорусский литератор. После окончания средней школы он работал слесарем на Минском авторемонтном заводе, откуда и был призван в пограничные войска.

Службу проходил на контрольно-пропускном пункте. Участвовал в задержании нарушителей границы и контрабанды, за что поощрялся командованием.

Стихи, очерки, рассказы рядового А. Дроздова публиковались в окружной газете.

После увольнения в запас работал слесарем, плотником.

Окончил заочное отделение Литературного института имени А. М. Горького.

Повести «Завещание из сорок первого» и «От восемнадцати и старше» были

опубликованы в журнале «Пограничник».

Первая — размышление о прошлом и настоящем границы, о непреходящей значимости подвига старших поколений, ценой своей жизни отстоявших независимость нашей Родины, для воспитания молодых защитников страны.

Вторая повесть — о войнах современной границы — солдатах и офицерах, несущих нелегкую службу по охране западных рубежей Родины. События, описываемые в повести, происходят в течение одних суток: будничную, размеренную жизнь заставы и автомобильного контрольно - пропускного пункта вдруг взорвал сигнал тревоги; вчерашние рабочие и прораб вступили в нелегкую схватку с вооруженным нарушителем.



№ 1(127) 1987 г.

Анатолий ДРОЗДОВ

ОТ ВОСЕМНАДЦАТИ И СТАРШЕ

Повести

г. Москва



ЗАВЕЩАНИЕ ИЗ СОРОК ПЕРВОГО

1.

Моложавый сидел на подоконнике, подперев спиной створку открытого окна, курил, стряхивая пепел наружу. На скрип двери даже головы не повернул: как смотрел куда-то вдаль поверх зеленых свечек-тополей, так и остался в неподвижности. Однако Сазонтьев заметил, как дрогнула тонкая бровь под испачканным краской лбом, и понял: его приход незамеченным не остался.

— Кхм!

Моложавый нехотя обернулся и стремительно соскочил на пол, торопливыми движениями одергивая куртку под ремнем.

— Товарищ майор?!

— Вольно, — махнул рукой Сазонтьев и с любопытством взглянул на растерянное лицо солдата: не ждал, думал, видно, что кто-то из свободных от службы. Размышлял, Сикейрос доморощенный. И курил: ишь окурок в ладошке прячет — не догадался выбросить. А окурок-то тлеет, жжет. Терпи теперь, раз виноват. Скажи еще спасибо, что молчу, поймал бы здесь с сигаретой кого другого...

Сазонтьев прошелся по комнате, осторожно ступая до блеска начищенными сапогами по свежепокрашенному полу, осматривал все. И впервые за этот месяц подумал, что Николай Петрович, замполит, был прав. У этого востроносого мальчишки, что стоял сейчас, накупившись, у окна (окурок все же выбросил, улучил момент), действительно золотые руки. Ленкомната преобразилась, а вернее, стала другой. Новые большие щиты на стенах, светлые яркие краски, четкий шрифт... Ощущение простора и праздника. Ну, простора, положим, скоро не будет: поставим стулья, стеллажи с книгами, витрины с экспонатами... А вот праздник...

По планам замполита и этого перепачканного краской мальчишки здесь, в нише, должна еще разместиться картина, изображающая эпизод из боевого прошлого заставы.

Сазонтьев обернулся — холст, натянутый на подрамник, стоял у окна, повернутый лицевой стороной к стене. Прячет, не хочет показывать до времени. Майор усмехнулся так, чтобы Моложавый не видел.

— Что, к концу работа идет?

— Так точно.

«А по голосу не видно — вяло отвечаешь. Что-то не ладится у тебя, парень».

— К празднику будет готово?

— Не знаю.

— А кто знает? — Сазонтьев нахмурился.

— Не получается, товарищ майор.

— Та-ак, — Сазонтьев качнулся с пятки на носок. Чуял же! Еще когда Петрович планы грандиозные развертывал. Нашел, на кого положить!

— Поймите, Михаил Алексеевич! — горячился замполит. — Талант у парня. Как он альбомы солдатам разрисовал!

— Видел, — усмехнулся Сазонтьев. — Герой-пограничник у полосатого столба и блондинка к нему руки тянет. Двадцать лет служу — одна тема без вариаций. А тут Ленкомнату...

— Попросят, вот и рисует, — поморщился Петрович. — Если на то пошло, повезло нам. Свой художник на заставе.

— Что ж его тогда в отряде не оставили? Там художников больше нашего любят.

— Сам не захотел. Уперся — только на границу.

— Сказки. Небось посмотрели на его мазню и сказали: топай, парень на заставу. Тебе не клубы оформлять — по флангам ползать. Не будем спешить, подождем, пока из отряда специалисты приедут.

— Они уже второй год едут, — вздохнул замполит.

Сазонтьев понимал и горячность, и обиду заместителя. Ленкомнату переоформить следовало еще пять лет назад, но сначала они промедлили, а теперь тянули в отряде. В канун юбилея многим хотелось обновиться, и до них очередь пока не дошла. А тут такая возможность! И Сазонтьев, скрепя сердце, согласился.

Сейчас, вспоминая этот, месячной давности разговор, он жалел, что не проявил твердости, позволил себя уговорить. Слов нет, солдат старался. В конце концов учили же его чему-то в художественном ГПТУ. С тем, что попроще, справился. А вот картина

Сазонтьев еще раз взглянул на пустынно белевшую нишу и, подавив приступ гнева, спросил:

— Может, от службы освободить? Совсем мало времени осталось...

— Не надо, товарищ майор, — насутился солдат.

— Как знаешь, — качнул головой Сазонтьев, — а картина чтоб была. Через две недели! — повысил он голос и, недовольный — все-таки не выдержал, сорвался, — торопливым шагом вышел из комнаты.

На крыльце он минуту постоял, пока весенний прохладный ветерок не охладил горячий лоб, затем, привычным зорким взглядом окинув двор (все ли в порядке), сбежал по ступенькам. Выйдя за ворота, свернул с асфальта на узкую тропку, бежавшую вдоль уже начавшей зеленеть дамбы, и зашагал по влажной, поддающейся подшвам сапог земле.

Припоздавшая в этом году весна теперь словно спешила взять

свое: еще недавно ветки тополей были только усыпаны зелеными почками, а сегодня молодая нежная листва уже повсюду шумела на ветру; чешуйки от последних почек медленно кружились в воздухе и тихо садились на землю. Нежно и тонко пахло молодой травой и прелой сыростью непросохшей в низинах земли, и Сазонтьев жадно вдыхал этот весенний аромат, подзабытый за осень и зиму и потому особенно желанный. Гнев прошел, и сейчас Сазонтьев уже корил себя за резкие слова. Чем в самом деле провинился перед ним Моложавый? Не смог сделать то, что задумали? У больших художников не получается... Совестьливый, если на то пошло, парень; другой бы, понаглее, изобразил эдакую могучую фигуру с винтовкой наперевес — смотри, народ! Вон, в совхозе пограничном наняли заезжего бородача клуб оформить. Такое намалевал! Полеводы с руками, толщиной в бревно, держат в огромных ладонях ядовито-фиолетовые дары земли. Руки бы поотбивать за такую мазию, а совхоз халтурщику тысячи отвалил. Как же: член Союза художников! За сантиметр стены, которая чистая выглядела лучше, по самым высоким расценкам!

Не получается у парня... А что тут удивительного? Войны не видел, отец и тот не воевал. Кто ему мог рассказать? Эх, Николай Петрович, не вовремя тебя язва в госпиталь уложила! Поговорить бы с солдатом по душам, как ты можешь. У меня ни времени, ни таланта твоего...

Тропинка привела майора к невысокому задеревенелому холму, в котором никто бы сейчас не узнал развалин старой заставы. То, что не разбили снаряды, разнесли по кирпичику после войны — нужно было строиться, а материалов не хватало...

Миновав холм, Сазонтьев подошел к ажурной металлической оgrade. Снял фуражку. Порыв ветра, налетевший вдруг, растрепал волосы, сделав майора удивительно похожим на человека в гимнастерке старого образца, смотревшего с крайнего медальона на сером бетонном памятнике.

«Ст. лейтенант Сазонтьев Алексей Гаврилович, начальник заставы (1911—1941 гг.)».

Золотая краска на буквах потускнела и местами облупилась «В ближайшую субботу обновлю», — решил Сазонтьев, привычно скользя взглядом по длинному столбцу с фамилиями. Нашел нужную.

«Ряд. Цедрик Владимир Степанович».

Фамилия стояла в конце списка. По алфавиту и званию Памятник ставили давно, когда Сазонтьев-младший, к тому времени уже круглый сирота, постигал военную науку в пограничном училище. Годы уйдут на учебу, еще несколько месяцев на то, чтобы расспросить местных жителей, которые хоронили убитых, разыскать деда

Максима, знавшего о последних часах заставы больше остальных. Если бы знать тогда... Он добился бы, настоял, чтобы фамилии написали рядом. По правде и справедливости...

2.

— Таварыш камандир, таварыш камандир!..

Сазонтьев разлепил глаза. И ничего не увидел. Черная, густая до осязания темень стояла вокруг, и если бы не этот знакомый голос над ухом, грубые тяжелые руки, что трясли сейчас его за плечо, он бы, пожалуй, ужаснулся. Но голос был живой, грубовато-мягкий, и он узнал его. Очнулся, вспомнил...

— Что случилось, Цедрик?

Он сел и только сейчас почувствовал боль в спине — спал на каких-то обломках. Третья ночь без сна, не заметил, как и смогло.

— Таварыш камандир, старшина Белько... Вас зовет. Помирает он, таварыш камандир...

Сазонтьев отыскал в кармане галифе спички, чиркнул. Ослепительно яркий язычок выхватил из темноты черное, в пыли и копоти лицо бойца. Стриженная голова (фуражку где-то потерял), две извилистые дорожки на щеках. Плакал.

— Спокойно, Цедрик.

Он встал, пригибаясь, чтобы не задеть головой низкий свод подвала, двинулся вперед. Постепенно глаза привыкли к свету, пламя спички уже не казалось ярким; он шел прямо, скорее угадывая, чем замечая обломки кирпичей под ногами. Позади, поминутно спотыкаясь, шлепал Цедрик.

Старшина лежал там же, где они оставили его вечером, — в углу на разостланной шинели. Глаза закрыты. Только еле трепетавшие веки говорили о том, что он еще жив и не в забытии.

Сазонтьев бросил на пол догоревшую спичку, зажег новую. И в свете ее с ужасающей ясностью увидел, как осунулось и потемнело лицо Белько. Острый нос, серые губы, густая щетина на лице (побриться вчера никто не успел), как грязная пыльная пена.

Белько открыл глаза.

— Са-адитесь.

Голос его, хриплый и слабый, дрожал.

Старший лейтенант встал на колени. Спичка догорела, он бросил ее и загремел коробком, доставая другую.

— Не на-адо, — медленно проговорил Белько, и Сазонтьев услышал какой-то шорох. Старшина что-то хотел, Сазонтьев, догадавшись, поискал в темноте и взял в руки ладонь раненого, сухую и горячую.

— Спа-аси-бо, — выдохнул Белько, — ум-ми-раю я.

Сазонтьев молчал, не зная, что можно и нужно говорить в эту минуту, чувствуя лишь, как ворочается в горле шершавый тяжелый комок. Человек, что лежал сейчас перед ним и умирал, еще позавчера весело и лихо крутил «солнце» на турнике во дворе заставы на зависть собравшимся поглазеть пограничникам. Сазонтьев тоже смотрел, в душе ругая Белько за этот спектакль (нашел время!), и в то же время невольно любовался движениями ловкого мускулистого тела. Заметив командира, старшина прыгнул на землю, подбежал к Сазонтьеву, и столько молодой радости было на его широком, покрытом густыми каплями пота лице, что старший лейтенант промолчал, а потом завел речь о чем-то несущественном.

Позавчера... Позавчера все они, красноармейцы и командиры заставы, были энергичны и здоровы, полны сил; и даже тревожные ночи, не дававшие им покоя в последние месяцы, казались чем-то временным, проходящим. Стояло теплое лето, ночи — и те ласково и тихо спускались на землю, и хотя каждый понимал, никто не думал всерьез, что на рассвете обрушится на заставу огонь и смерть, крепкое кирпичное здание в течение часа станет руинами, а они сами встретят смерть кто от горячей пули, кто от холодного штыка в за-годы открытых окоп?х.

...Белько ранили вечером, во время восьмой, последней, атаки. У них еще оставались две коробки с лентами; «максим», побитый осколками, с потекшим кожаном еще стрелял, и атаку они отбили. Однако несколько фашистов просочились в траншею, один из них и достал старшину штыком. Прибежавший на крик Сазонтьев застрелил из нагана гитлеровца, затем еще двоих, притаившихся в ходах сообщения, однако Белько помочь не успел. Они с Цедриком положили раненого на шинель и отнесли в подвал разбитой заставы. Двое живых и один раненый: весь гарнизон — все, кто дожил до двадцать третьего...

— На-аших слышно? — прохрипел в темноте слабый голос.

— Что? — не понял сразу Сазонтьев и, сообразив, проговорил торопливо: — Нет. Тихо пока. Всюду тихо.

— На-аряды?

Старшина, как и он, до последней минуты ждал возвращения нарядов, ушедших на границу прошлой ночью.

— Нет и нарядов, — устало сказал Сазонтьев. — Не пришли. Видно, там дерутся.

Он поднес к глазам часы. Светящиеся стрелки «командирских» показывали полтретьего. Скоро рассвет. Если бы хоть один человек из тех, ушедших, остался в живых, давно бы пришел. Теперь все.

Помолчали. Потом Сазонтьев почувствовал, что Белько слабо тянет его к себе, наклонился.

— Ве-ера и Ми-иша уехали, ви-идел. На те-еле-ге. По-осадил, — голос старшины едва был различим даже в этой тишине.

Сазонтьев сглотнул застрявший в горле комок. В последние свои минуты старшина думал о нем, успокаивал.

Он не успел попрощаться с женой. Вокруг все выло и рвалось, среди ярких вспышек и черного горького дыма метались люди, и все его силы пошли на то, чтобы оценить обстановку и вывести заставу на рубеж обороны. И только там, остановив бежавшего по ходу сообщения Белько, он сказал ему:

— Женщин и детей на телеги и в тыл. Живо! — и пояснил, словно извиняясь за свою тревогу: — Видишь же, что вокруг.

— Слушаюсь! — деловито козырнул старшина и, прихватив красноармейца, побежал к заставе.

Вернулся он быстро, еще до начала атаки. Шустро спрыгнул в траншею, молодецкато бросил руку к козырьку.

— Ваше приказание выполнено! — И добавил спокойно: — Посадил всех. Живы, здоровы, хотя и напуганы. В подвале хоронились. Я им Федорова в сопровождающие дал, на всякий случай. Вдруг диверсант какой.

Сазонтьев хотел отругать старшину за самоуправство, но Белько опередил его.

— Он только до села. Потом наказал, чтоб бегом...

Федоров и вправду вернулся незадолго до третьей атаки. Подполз с тыла к окопу, тяжело свалился вниз. Доложил, что до села доехали нормально, все живы, здоровы, и Вера Николаевна передавала ему, чтобы не волновался за них.

Тут пушки на том берегу опять принялись садить по их траншеям, и договорить они не смогли. А потом опять побежали поперек желтой ленты реки серые резиновые лодочки с такими же серыми фигурами в них, и Сазонтьев метнулся к «максимум». Немцам в этот раз удалось просочиться на берег, и он поднял людей в контратаку. Они не кричали «Ура!», дрались молча и ожесточенно: фашистов в реку сбросили. В этом бою погиб Федоров...

Они поднимались в контратаки еще дважды, в последний раз поднимать было уже некого: от заставы осталось меньше отделения. Поэтому и просочились в траншею фашисты, один из которых достал штыком Белько...

Старшина, невидимый в темноте, дернулся и захрипел. Затем Сазонтьев почувствовал, как обмякла в его руке ладонь раненого. Все.

Сазонтьев зажег спичку. Глаза Белько были закрыты, лицо спокойное и строгое. И если бы не заострившийся нос, приоткрытый, застывший рот, можно было бы подумать, что он просто спит. Сазонтьев поднял с усеянного обломками кирпича пола ладонь, которую

только что сжимал, положил на грудь умершего. Затем закрыл лицо старшины полой шинели.

Цедрик, все это время тихо дышавший за его плечом, громко, с надрывом, всхлипнул.

— Молчать! — крикнул Сазонтьев неожиданно зло.

Красноармеец умолк, будто подавившись.

Старший лейтенант встал и, сгорбившись, медленно побрел прочь. Возле отдушины в фундаменте, в прямоугольнике которой уже заметно начинало сереть, он сел, откинувшись затылком на холодный кирпич, закрыл глаза. Цедрик остановился рядом, молчал, тихо дыша.

— Сколько у нас патронов? — тихо спросил Сазонтьев, не открывая глаз.

— Цинка, — торопливо отозвался красноармеец и добавил винтовато: — Не полная.

— Диски к «дегтяреву»?

— Только один целый. А два пустые.

— Гранаты?

— Гранат нету, — вновь, будто в том была его личная вина, отозвался Цедрик. — Днем все покидали.

Сазонтьев знал об этом не хуже бойца, спрашивал машинально, прикидывая на сколько их хватит утром. По всему выходило — на одну атаку.

— Садитесь, Цедрик, — сказал устало, — что стоите? Отдыхайте. Скоро светать начнет.

Боец неловко присел рядом.

— Таварыш командир, — тихо сказал спустя минуту, — а наших не буде, да?

— Будут, — хмуро отозвался Сазонтьев, — с чего ты взял, что нет?

— Так, — замялся боец, — други день, а не слышна.

— Значит, не могут. Видел, как прут? Готовились... А наши все равно придут, не сомневайся.

— Скорей бы, — вздохнул Цедрик

Помолчали. Потом Сазонтьев услышал, как что-то зашелестело.

— Таварыш командир... Возьмите

Сазонтьев почувствовал осторожное прикосновение руки — в ладони его оказался плотный шершавый квадратик: сложенный в несколько раз листок бумаги.

— Что это?

— Адрес. Коли загину тут, адпишите. Каб батька знали

— Хорошо, — устало сказал Сазонтьев и сунул квадратик в нагрудный карман.

Он не стал ругаться, переубеждать бойца: Цедрик был прав, и

он как никто другой понимал это. Сколько их вчера полегло здесь, таких вот парней! И почти у каждого есть мать и отец, которые еще ничего не знают и узнают ли когда? Цедрик прав, хотя глупо в такой ситуации рассчитывать, что другой уцелеет. Их хватит на одну атаку...

Сазонтьев горько усмехнулся. Вот, значит, какой конец ниспослала ему судьба. На Хасане миновала его самурайская пуля, а уж там вода кипела: один за другим, коротко вскрикнув, шли на дно товарищи, а он все плыл и плыл, цепляясь за самодельный хлипкий плотик с установленным на нем «максимом», и доплыл-таки, выжил. Месяц назад задержанный пограничным нарядом диверсант на допросе выхватил из рукава не обнаруженную при обыске финку и, прежде чем кто-либо успел двинуться, метнул ее в начальника заставы. Лезвие прошло в миллиметре от щеки: Сазонтьев ощутил легкое движение воздуха, вызванное им.

— Повезло! — сказал тогда Белько, с усилием вытаскивая глубоко засевший в оконной раме нож. — Долго жить будете, товарищ старший лейтенант.

Что ж, в войну и сутки много.

Сазонтьев подумал о Вере и сыне. В последний месяц он домой не приходил — забегал ненадолго. На Мишку даже вволю насмотреться не успел. Обстановка, будь она неладна.

Вера с сыном уехали, и мысль об этом была единственным, что радовало его. Война — мужское дело; когда на ней гибнут мужчины в форме, это горько, но объяснимо. А дети...

Рядом жалко, по-детски, всхрипнул Цедрик. «Спит?» — удивился старший лейтенант. И тут же, чувствуя вину, подумал, что пока он лежал тут на кирпичах, где его внезапно, ударом, сморил сон, Цедрик дежурил возле раненого. Иначе бы не позвал его проститься.

Он плохо знал бойца: тот был из последнего призыва и ничем не выделялся среди сверстников. Толстый нос картошкой, белесые брови, худая, нескладная фигура. Боец из него был не ахти какой, и, если на то пошло, было удивительно, что именно он дожид до утра. На войне в первую очередь гибнут неумелые и неловкие, а этот пережил всех: и мастеров штыкового боя, и ворошиловских стрелков, и атлетов с литыми плечами, одним ударом приклада загонявших голову непрошеного гостя в плечи. Повезло? Наверное. За спины других Цедрик не прятался, не дрожал в траншее, уткнувшись носом в землю, Сазонтьев видел это. Из тех парней, что остались лежать на лугу у заставы, никто не прятался и не дрожал.

Сазонтьев почувствовал, как заворочался в гортле знакомый шершавый комок. Ребята, стриженные головы, сколько же вам было? Двадцать? Он тридцатилетний и двадцатидесятилетний Белько казались им стариками. И пережили их...

Старший лейтенант взглянул на часы. Три. Стрелки на циферблате уже не светились — в этом не было больше нужды. Снаружи разгорался тихий летний рассвет.

Сазонтьев достал из чехлов пустые пулеметные диски и подтянул поближе початую цинку. Патроны, уже ясно видимые, один за другим исчезали в окнах магазина. Занимался новый день...

3.

Дождь пошел, когда они оставили за спиной добрую половину пути: это был ливень, весенний и теплый. Его толстые упругие струи вдруг ударили с давно хмурившегося неба, застучали по фуражкам и плащ-палаткам — в один миг все исчезло вокруг, осталась лишь вода: сверху, сбоку, под ногами...

Первым опомнился Петренко.

— Давай за мной! — крикнул он Моложавому; тот едва различил в бешеном звоне воды голос старшего наряда. И, управляемый больше чувством, нежели рассудком, ринулся следом. Бежать было тяжело: по дозорной тропе струилась желто-коричневая река; жирная скользкая земля липла к подошвам сапог, в этом водяном аду было трудно дышать, и куртка солдата вскоре взмокла от пота. А может, и не от него. Для воды, стеной рушившейся с неба, плащ-палатка была плохой защитой.

Он пришел в себя под деревом: старым высоким тополем, которым они обычно мерили путь: миновал — полфланга за плечами.

Здесь было тише, хотя сильные плети ливня пробивали неплотную, сотканную из молодых листочков крону. Однако дышалось тут легче.

— Вот лупит! — сказал, отдышавшись, Моложавый, глядя на плывущую впереди стену дождя.

— КСП кранты, — мрачно отозвался Петренко, — три дня пахал. Запрофилировал, как картинку, — он тяжело вздохнул, — а тут в один момент.

Моложавый вспомнил: день назад, перепачканный машинным маслом, в пыли, ефрейтор Петренко остановил трактор во дворе заставы и довольно помахал черной пятерней: «Все в порядке!». Вот тебе и в порядке!

— Может, и не размочет, — сказал неуверенно, утешая.

— Да уж, — хмуро буркнул старший наряда, и Моложавый понял, что утешал зря.

Постояли молча. Петренко еще раз тихо вздохнул и сказал, ни к кому не обращаясь:

— Берег бы у поворота не подмыло. Всю систему переносить... Ливень кончился так же внезапно, как и начался. Исчез, словно

кто выключил, шум; затем из-за туч выплыло солнце. И только журчание ручьев, бегущих по дозорке, напоминало о недавней буре.

— На полосу смотреть в оба! — приказал Петренко, поправляя ремень автомата. — Если и был тут след, все смысывало к черту.

Вскоре Моложавый убедился, как прав был напарник, вздыхая под тополем: плотные струи ливня уничтожили запрофилированное полотно — перед ними лежала неровная, прибитая водой полоса земли. Местами ее прорезали ручьи, кое-где образовались лужи, и здесь Петренко останавливался, чуть ли не руками шарил по дну. Качая головой, разгибался и шел дальше.

Идти было трудно: жирная глина липла к сапогам, превращая их в огромные бесформенные чуни; время от времени они останавливались и резко, будто били по мячу, взмахивали ногами. Огромные куски грязи срывались с сапог и смачно шлепались на мокрую землю. Однако спустя пять минут грязь вновь облепляла головки кирзачей. Припекало, вода бурно испарялась, воздух был горячим и липким, дышалось трудно. Поэтому Моложавый облегченно перевел дух, когда Петренко внезапно остановился.

— Смотри, — сказал, не оборачиваясь.

Моложавый нагнулся, но ничего не увидел: чистая, выбитая ливнем полоса, маленькая лужица у дозорной тропы.

— Ничего не замечаешь? — повернул голову Петренко.

— Не-ет...

— Смотри!

Петренко присел и ладошкой смахнул воду из лужицы на дозорку. На открывшемся вдруг дне проступил нечеткий, размытый, но все же различимый отпечаток каблука.

— След? — Моложавый почувствовал, как горячий пот заливает тело. — Нарушитель?

— Счас мы его! — весело отозвался напарник и, подняв комок грязи, запустил его в куст на противоположной стороне КСП. — Вылезь!

Ветки куста шевельнулись, и показалась круглая, улыбающаяся физиономия рядового Гайдукевича, заставского связиста.

— Привет следопытам! — крикнул он весело. — Что, помочил вас дождик?

— А тебя?

— Я под бережком, ничего, — храбрился связист, но тяжелые от пропитавшей их воды, обвисшие полы плащ-палатки, струйки воды, бегущие по лицу из-под промокнувшей фуражки, говорили, что ему досталось не меньше, чем наряду.

— Поставил МЗП?

— Не успел, — вздохнул Гайдукевич, — а теперь по мокряди повозишься... Пойду я, — он помахал рукой, — счастливо, следопыты.

Затрещали кусты.

— Как... — начал было Моложавый, но старший наряда опередил его.

— Смотри, — он указал на еле заметную округлую черточку на КСП. — Все, что от следа осталось. Дождь смыл. А в луже не успел: струи не по земле — по воде барабанили.

— Что же он следы за собой не заделывает? Могли и тревогу поднять.

— Не успел, видно, под ливень угодил. А что до тревоги... Перед нами вышел, я знал.

Больше они не разговаривали. Лишь когда фланг остался позади и Петренко доложил дежурному, что все в порядке, они позволили себе расслабиться. Кое-как счистив грязь с сапог пучками травы, сели на разостланные плащ-палатки. Машина за ними должна была прийти по тыловой дороге — дозорка стала непроезжей.

Ломило ноги и руки, от мокрых курток валил пар, хотелось упасть навзничь и лежать, ни о чем не думая, чувствуя лишь, как отходят окаменевшие от усталости ноги.

— Слышишь, Виктор? — Моложавый с удивлением взглянул на напарника — впервые тот обратился к нему по имени. — Чего Сазонтьев на тебя сегодня ругался?

— Так...

— Картину не успеваешь, да?

Моложавый промолчал.

— Ленкомнату ты хорошо сделал, — продолжил Петренко, словно ничего не заметив, — мы с ребятами ходили смотреть. Лучше и не надо. Одна картина осталась, — он вздохнул. — Слушай, может, тебе времени не хватает? Ладно, граница, а в хознаряд можешь не ходить. Я с ребятами говорил, помогут. Две недели до праздника...

— Не во времени дело, — Моложавый порылся в карманах, достал сигареты. Они отсырели, но, покопавшись, он все же нашел посуше, чиркнул спичкой.

— А чего тогда? — длинное, с выдающейся вперед челюстью лицо Петренко выражало недоумение.

— В чем? Вот ты, ты бы что на этом полотне изобразил?

— Я? — Петренко надолго задумался. Потом нерешительно пожал плечами. — Не знаю.

— Вот и я не знаю...

Помолчали. Моложавый сосредоточенно курил. И вдруг ефрейтор встрепенулся.

— Командира нашего нарисуй. Он же со своим отцом, как две капли. А тот герой. Был на старой заставе? Знаешь, как он из подвала?..

— Знаю.

— Вот. Фронт уже на тридцать километров откатился, а они все бились. Как чекисты...

— Думал я об этом. И пробовал, — Моложавый глубоко, аж ввалились щеки, затянулся. — Не получается.

— Почему?

— Потому. Вот тебя я хоть сейчас напишу, я тебя вижу. А их... Сорок лет прошло. Какие у них были лица, глаза... И вообще, ты знаешь, с какими лицами идут в штыковую, стреляют по врагу, умирают?.. Ты это можешь представить? Можешь?

Петренко задумался. Трудная, непривычная работа шла сейчас в его коротко стриженной голове, и Виктор с жалостью смотрел, как бегают по лицу старшего наряда желваки. Он уже был не рад, что набросился на него, выплеснул отчаяние и злость, накопившиеся за эти дни. Но ведь сам виноват, пристал с расспросами, механизатор колхозный. Это тебе не полосу боронить..

Петренко думал долго. Пока вдали не послышался ровный гул — за ними шла машина. Увидев ее, старший наряда встал.

— Пойдем, — он поднял с земли мокрую плащ-палатку. — На заставу пора, — и добавил, помолчав: — Я бы их все равно нарисовал. Ночью не спал, а нарисовал бы. Жалко, не умею. Во! — Он растопырил темные от машинного масла, со сбитыми ногтями пальцы. — Та-кими граблями не нарисуешь. А у тебя талант...

Тяжело ступая по хлюпающей под подошвами сапог траве, Петренко пошел к машине.

4.

Наряд они заметили издалека. Два белых огонька один за другим выплыли из-за пригорка и медленно поползли вниз; то исчезая, когда рефлектор фонаря поворачивали, то вновь загораясь ярко-белыми, все увеличивающимися в размере звездами. Вскоре стали видны размытые овалы света, бегущие по КСП, время от времени они соскакивали с полосы и обшаривали прилегающие к ней кусты: видимо, ветер шуршал там, тревожа наряд.

Из-за тучки выглянула луна, залив землю мягким неживым светом, и теперь уже хорошо стали видны на светлом фоне дозорной тропы темные фигуры пограничников. Фонари они не выключили. Сазонтьев только вздохнул: ливень, будь он неладен. Сохранись на полосе рифленый гребешок — фонари не нужны. При такой луне птичий след заметишь.

Луна сделала бесполезной и его маскировку. Сазонтьев шагнул на мягкую землю дозорки.

— Стой! Кто идет!?

Сноп света ударил майору в лицо: он невольно прикрылся ладонью.

— Свои!

— Пароль?

«Видит же. Ох, Петренко!»

— Мушка. Отзыв?

— Москва.

Луч фонаря соскользнул на землю.

— Товарищ майор, пограничный наряд в составе ефрейтора Петренко и рядового Моложавого несет службу по охране границы СССР. За время службы признаков нарушения государственной границы не обнаружено!

Ослепленный, с радужными кругами в глазах, Сазонтьев слушал, ничего не видя. Наконец впереди просветлело. Моложавый уже подошел: старший и младший наряда стояли рядом.

— Значит, не обнаружено? А хорошо смотрели? КСП вон какая.

— Хорошо смотрели, товарищ майор!

«Ты-то, конечно, смотрел. Можно было и не проверять».

— Как земля, ефрейтор Петренко?

— Мокрая еще.

— К утру просохнет?

— К утру не. (Когда с Петренко советовались, речь его незаметно становилась веской, рассудительной. Сазонтьев давно подметил эту особенность и, услыхав это «не», легонько улыбнулся.)

— А к вечеру?

— К вечеру может. Когда так греть будет, как сегодня.

— Тогда вечером сядешь на трактор. Будем ремонтировать полосу.

— О-хо! — тяжело вздохнул Петренко.

— Знаю, что тяжело. Надо.

— Обидно, товарищ майор. Только вчера закончил.

— Знаю, что обидно. Не тебе одному. Что сделаешь? У вас в колхозе озимые, случилось, вымерзали?

— Было.

— Пересевали?

— А как же!

— И тоже обидно было, наверное. Земля, она всюду земля. Везде уход и ласка нужны. Тогда и отдача будет. Ясно?

— Так точно.

— Вопросы есть?

— Так точно. Скажите прапорщику Любименко, пусть слазит с куста. Мы его давно увидели — кокарда на фуражке блестит.

Сазонтьев рассмеялся.

— Так и быть, скажу. Выполняйте приказ.

— Есты!

Майор долго смотрел вслед наряду, пока светлые овалы фонарей не скрылись за поворотом. Смотрел не один. Позади послышался треск: на дозорку выбирался Любименко.

— Бисов сын, — в голосе прапорщика сквозило смущение. — Глазастый яки. Нашто такого проверять, таварыш майор?

— Разучились маскироваться, Петр Павлович. Мало на границе бываете. Луна, а вы со своей кокардой...

— Э-э, то такие, шо и ночью вбачать. Чи вы Петренка не знаете? Даром ему медаль дали?

— Хвалите земляка.

— А чи не правда?

— Правда, правда. Идемте на заставу спать. Завтра день тяжелый.

Старшина весело зашагал впереди, чавкая тяжелыми яловыми сапогами по еще не просохшей земле. Даже сейчас, при лунном свете, было видно, как не по-военному круглилась под полевой формой его талия.

Это неприятное для себя открытие Сазонтьев сделал недавно и с тех нор не упускал случая, идя на границу, взять с собой и старшину. Не хватало еще, чтобы у него на заставе брюхатые появились! Слушался старшина беспрекословно, и Сазонтьев с удовольствием стал замечать, что ночные прогулки пошли на пользу: круглые яблоки старшинских щек уже не высились так вызывающе, а в фигуре появились первые, пока еле заметные признаки былой талии.

Чтобы там ни было, а старшину Сазонтьев любил и ценил: было за что. Девять лет назад, когда он впервые заметил этого смышленного чернявого сержанта и предложил ему остаться на сверхсрочную, он даже не предполагал, какое ценное приобретение делает. Тогда ему просто хотелось, чтобы на заставе был постоянный человек, которого не нужно раз в два года вводить в курс дела и, скрепя сердце, прощать ошибки, допущенные по молодости и незнанию. То, что в сложном хозяйстве заставы Любименко навел образцовый порядок, ничего удивительного для майора не было — по должности полагалось. Но как ему удалось быстро сойтись с директорами прилегающих к участку заставы совхозов, Сазонтьев до сих пор не знал. С совхозными они дружили всегда, помогали друг другу, но при всем желании много времени укреплению этих связей Сазонтьев уделить не мог, да и, признаться, несколько робел перед седовласыми важными Героями Труда, чьи имена не сходили со страниц республиканских газет. А Любименко запросто входил в их богато обставленные кабинеты, и хозяева радушно вставали, завидя гостя. Чем подогревался огонь этой дружбы, Сазонтьев, впрочем, догадывался.

В разгар лета, самую страдную пору, к нему обычно заявлялся Любименко и, посетовав на жару, замечал как бы мимоходом:

— Косить надо, товарищ майор.

— Систему вчера обкосили, чего еще?

— Та ни, — вздыхал прапорщик, — то знаю. Трава пропадает. Чи не бачылы, кольки у поворота за дамбой. А совхозу кормов не хватает.

— Кто ж там будет косить? Наши все заняты.

— Ни, косить совхозные будут. Тильки хлопца нашего треба, шоб ворота видчинив та постояв для порядку.

— Жалко траву. Сам знаешь след какой по росе остается.

— Товарищ майор, там система в два ряда и РЛС. Та трава под ногами путается.

— Ладно, — сдавался майор, — косите

Любименко уходил довольный, а Сазонтьев еще долго размышлял, правильно ли он поступил. С одной стороны — граница, строгий порядок, а с другой — нехорошо, когда луга, хоть и такие, пропадают. Да и Продовольственную программу выполнять нужно. Солдат не сеет и не пашет, а кормить-одевать его нужно.

Совхозные орденосцы заставу не забывали. С солдатского стола только зимой исчезали свежие овощи, консервированных хватало всегда. В сезон не переводились виноград и арбузы, гора которых высилась за летним душем, — подходи, выбирай поспелее. Одно условие — корки на хоздвор, где в просторном сарайчике хрюкает и повизгивает немалое поросячье племя, помыкивают коровы. Заставе хватало своего мяса на полгода, молоко было свое. По праздникам столы в солдатской столовой ломились...

И все это тихо, спокойно, без крика и нервотрепки сделал Любименко. Образцовое подсобное хозяйство, самая лучшая баня в отряде, самая красивая столовая. Когда-то была и Ленкомната. Упустили момент...

Майор едва не застонал при этой мысли. Как не ладно все получилось! И ведь не начини они все, легче было бы сейчас. Работа пошла споро, в радостном предчувствии праздника он специально не заходил в Ленкомнату, чтобы не снимать его с души. И не утерпел все-таки... А теперь худо. И не объяснишь ведь этому пацану, что значит для него, Сазонтьева, картина в нише. Кому история, прошлое, а ему... Это застава его отца, его застава...

— Петр Павлович, — спросил он Любименко, когда они миновали ворота и зашагали по тропинке вдоль дамбы. — Как вам художник наш, Моложавый?

Старшина ответил не сразу.

— Ничего хлопец, — сказал наконец. — Тильки малохолмны троти.

— То есть?

— А штось вечна думки якісь у цього, хлопцы, скажем, анекдоты, а вин, як не чув. Ноччу у классе сидить, штось пиша. Думав дивчине, а вин батька. Во такенное письмо. Я Маруси сроду таких не писав. А дивчины, хлопцы казали, не мае.

— И часто он в классе сидит?

— Часто.

— Почему позволяете?

— Так никому не мешае, тихо. Попиша и спать иде. Хай.

Сазонтьев промолчал. Ему было неприятно и обидно: об этих ночных бдениях он должен был знать сам. «Так все и начинается, — с горечью думал майор, с силой вгоняя каблук в сырую землю. — Сначала не увидел, потом недосмотрел, а там, глядишь, и забыл. И вот тебе уже мимоходом о пенсии напоминают. Пора, мол...»

Хорошо, что Любименко шел впереди и не видел лица командира...

5.

«Здравствуй, папа.

Вот и опять ночь, учебный класс, и я, сменившись, пишу тебе письмо. Петренко уже второй сон досматривает — он засыпает с ходу, пока голова еще на полпути к подушке. А мне покоя нет. Сижу, мараю бумагу, благо дежурный внизу и не видит. А здесь во круг только храп и посапывание. Умаялись ребята.

Помнишь, ты не мог добудиться меня утрами, и потом я летел в школу, на ходу дожевывая бутерброд? И в училище было не лучше. Сейчас после наряда ноги гудят — сил нет, столько километров отмахали! — а спать не хочется.

Все у меня по-прежнему, папа, служба идет нормально, командиры не ругают, одна беда — картина. Когда месяц назад брался за оформление, никак не думал, что будет так трудно. Ведь не в первый раз! С Володиёй (помнишь, ты звал его «наш друг с острова Борнео» за его звероватого вида бороду) не один клуб оформили. И все было так просто. Брали подходящую цветную вклейку из журнала, эпидиаскоп проецировал ее на холст, прописывали рисунок, цвет — получай, сельский труженик, копию шедевра. И остальное также... Быстро, красочно и денежно. Заказчики претензий не имеют...

Прости, что рассказываю тебе об этом только сейчас, стыдно было признаться — ты бы не похвалил. Мне так хотелось купить настоящие колонковые кисти, хорошие краски — все ведь с рук, не дешёво. И купил ведь! Сейчас бы мне без них просто беда, спасибо, что прислал.

Помнишь мою прогремевшую на все училище композицию «Ужин»? Ту, где питекантроп в пещере глодает кость, а красный диск солнца, повисший у входа, обозначает, что это именно ужин, а не обед или завтрак.

Как сейчас вижу столпотворение, что творилось у моего холста. Преподаватели, оценивающие домашнее задание, чинно идут вдоль ряда работ, на которых благообразные бабка с дедкой сидят за столом перед миской с вареной картошкой и крынкой молока. Вариации... Преподаватели важно покачивают головами, и вдруг — мой «Ужин». Прямо закипело! Кричат, машут руками. Минут пятнадцать спорили. Потом дальше двинулись. Прошли немного и вернулись: снова кричат, руками машут...

Тройку я тогда получил. Как сказал Николай Эрастович, мой руководитель, «за изобразительное хулиганство». К рисунку и колориту претензий не было.

Наверное, я взялся не за свое дело. Художник-оформитель со средним специальным образованием: такому клубы сельские размазывать еще туда-сюда... Здесь ведь тоже есть эпидиаскоп и иллюстраций подходящих хватает, но не могу по-старому, рука не поднимается.

Если бы ты только знал, как заставка следит за моей работой! Я фигура номер один, маэстро: предлагают со службы снять, от хозяйства освободить... Только работай. Как будто я их собственные портреты пишу, а не сцену из далекого прошлого. Военный энциклопедический словарь где-то раздобыли и принесли: там на цветных вклейках форма бойцов и командиров Красной Армии тех лет. Это чтобы не перепутал... Добили совсем: руки дрожат, когда думаю, чего от меня ждут.

В голове пусто — ни одной мысли. Что, как писать? Книги читал, кино смотрел, ветеранов слушал — а представить не могу. Прямо хоть плачь.

Помнишь, мы смотрели по телевизору новый военный телефильм, где красивые, ладные красноармейцы, длинноволосые, в чистенькой, выглаженной форме (несколько дней по лесу скитались), гладко выбритые, легко и красиво побеждали бесчисленных врагов. Если и настигала кого пуля, то, несмотря на бешеную пальбу вокруг, скорбно склонялись над смертельно раненным товарищи, и тот произносил много красивых и правильных слов. Я помню, как ты хмурился, глядя на все это, а потом встал и выключил телевизор. И теперь я понимаю почему.

Я знаю, папа, что война — это страшно, очень страшно. Потому что в короткий миг боя погибает очень много людей, и никто над ними не стоит, причитая; когда враг насаждает, просто не до этого, а отбив атаку, нужно готовиться к новой. В этой бешеной кутерьме

личная, частная судьба отступает на второй план: человека может засыпать землей, разнести в пыль взрывом, и этого даже не заметят поднявшиеся в контратаку товарищи. А потом фронт уйдет вперед... Наверное, поэтому так много у нас было в годы войны пропавших без вести, поэтому редко, но случалось, к счастью, похоронке ошибиться. Деда Михайлу из маминой деревни так хоронили дважды, я помню его рассказы...

Война страшна не только этим — бессмысленными убийствами и жестокостью, которые ей неизменно сопутствуют. Маминого отца, деда Семена, расстреляли только потому, что он не понравился фашисту. Бабушку Марию убило шальным снарядом.. Ты помнишь: мама уходила в соседнюю комнату, когда по телевизору шел военный фильм. А ведь ей в войну и десяти не было. Тетя Тася рассказывала мне, как они голодали, оставшись вшестером после смерти отца. А вот мама не говорила — не могла. Их обеих нет давно, и обе едва перешагнули за сорок. Это ведь тоже война, папа?..

Поэтому я и не могу никак написать эту картину: мне страшно, что может получиться, как в том фильме. Я сфальшивлю, сойду. Мне стыдно перед теми людьми, многие из них были моложе меня и погибли потому, что иначе тогда поступить не могли. А я бы смог? Не знаю...

Помнишь, ты рассказывал, как после войны тебя, сироту, приехавшего в город из разбитой деревни, зверски избили и ограбили в тихом переулке трое пьяных верзил. Хотя что вроде бы грабить у нищего пацана, а если и грабить, то за что бить — неужто не справятся?

Мне долго не давал покоя тот рассказ. Не мог понять: как это — победа, праздник, такую войну сломали, и вдруг зверье бьет ребенка? И спекулянты на базарах, банды в лесах... Откуда? И лишь сейчас понял... На войне погибли самые лучшие, как же — «Коммунисты, вперед!». А эти прятались, забивались в щели, а потом вылезли. Поэтому у нас тогда давали такие длинные сроки — нельзя было позволить, чтобы эта погань захлестнула страну. Не дали...

Я все думаю: какой стала бы наша жизнь сейчас, если война не началась бы и все погибшие на ней уцелели? Не могу представить. В одном уверен: ушли бы мы куда как дальше вперед...

Чем больше я думаю обо всем этом, тем меньше у меня остается решимости довести до конца дело, за которое так легкомысленно взялся. Ночами, когда наконец засыпаю, снится одно и то же: разбитая снарядами застава, и двое оставшихся в живых пограничников отбиваются от наседающих врагов. Бьют пулеметы, брызжут в стороны осколки кирпича, а я в стороне и ничем не могу помочь. Проснусь — и щеки мокрые от слез...»

Слова Любименко не давали Сазонтьеву покоя; попив чаю, он осторожно, чтобы не разбудить домашних стуком двери, вышел во двор. В окнах учебного класса на втором этаже горел свет — старшина был прав.

Первым желанием Сазонтьева было немедленно подняться наверх и посмотреть, чем занят среди ночи этот мазил; но он подавил в себе этот порыв. Еще немного постоял, чутко прислушиваясь к шорохам и шелестам весенней ночи, вздохнул и пошел домой.

«Вот и свой писатель на заставе завелся, — ворчливо думал он, медленно поднимаясь по ступенькам. — Сидит, сочиняет. Письмо? Ой ли... Стишки, наверное. Про любовь. Или свою доблестную службу. Лучше бы картину рисовал, востроносый, толку больше было бы. А то — «не знаю»»

Тихо прикрыв за собой дверь, майор прошел на кухню и, не зажигая света, сел у окна. На душе у него было беспокойно. И если бы кто из сослуживцев Сазонтьева смог заглянуть туда сейчас, он бы немало удивился чувству, тревожившему душу начальника заставы. Ни один человек в округе, даже жена майора, не знали, что много лет назад было в жизни курсанта пограничного училища Сазонтьева нечто такое, что роднило его сейчас с солдатом, по доброй воле бодрствующим в эту тихую ночь...

Все началось с газеты, точнее со стихотворения, напечатанного на первой странице. Называлось стихотворение кратко — «Мы», и именно необычный заголовок привлек внимание Сазонтьева. До этого к стихам он был вполне равнодушен.

Пробежав глазами первые строчки, он уже не смог остановиться.

Мы жгли костры и вспять пускали реки.

Нам не хватало неба и воды.

Упрямой жизни в каждом человеке

Железом обозначены следы —

Так в нас запали прошлого приметы

А как любили мы — спросите жен!

Пройдут века, и вам соврут портреты,

Где нашей жизни ход изображен.

Мы были высоки, русоволосы.

Вы в книгах прочитаете как миф

О людях, что ушли недолюбив,

Недокулив последней папиросы...

Дочитав до конца, Сазонтьев некоторое время сидел в оцепенении — настолько оглушала сила и правда, которой дышали эти строки. Придя в себя, он еще раз прочел стихотворение, произнося полупшепотом слова, а затем снова... И только потом увидел под на-

званием врезку, набранную жирным шрифтом. В ней сообщалось, что автор погиб в бою под Смоленском в 1942 году...

Удивительное созвучие чеканных строк и судьбы поэта поразило Сазонтьева. Он побежал в библиотеку, и Мария Викторовна, или, как ее звало не одно поколение будущих офицеров, тетя Маша, немало удивленная просьбой курсанта, отыскиала где-то на дальних стеллажах небольшой томик. Сазонтьев, жадно схватив книгу, убежал, забыв даже сказать спасибо.

Это был тоненький сборник с тем же названием; Сазонтьев проглотил его с ходу, а затем прочитал еще раз, на этот раз медленно и обстоятельно.

Не все здесь впечатляло, как то, первое, в газете, но почти в каждом стихотворении жила неведомая, непонятная ему сила, которая заставляла переживать и удивляться. Это было непривычно и странно: простые слова, сложенные в строки, были отражением его мыслей и чувств; чужой, неведомый Сазонтьеву человек писал о самых близких и дорогих ему вещах.

Я не знаю, у какой заставы
Вдруг умолкну в завтрашнем бою,
Не коснувшись опоздавшей славы,
Для которой песню я пою.
Ширь России, дали Украины,
Умирая, вспомню... И опять —
Женщину, которую у тына
Так и не посмел поцеловать.

И здесь внизу стояла маленькая цифра — 1940. Будь она на единицу больше, Сазонтьев понял, как возникли эти слова и эти строки, но то, что они были написаны раньше, когда никто ничего еще не знал, не давало Сазонтьеву покоя. «Как он мог почувствовать? — мучился он, лежа без сна на своей жесткой солдатской койке среди мирного храпа и посапывания казармы. — Как?! И то, что мы будем искать, какими они были, и про заставу, и последний бой... Как он мог угадать, человек, которому тогда было столько же, сколько и мне, не воевавший и не нюхавший пороху? Откуда?». Он мучился, стараясь понять, и никак не мог отыскать ответа...

Книгу он продержал у себя долго, до тех пор, пока Мария Викторовна вежливо не напомнила о сроке. Он вернул томик безропотно — все понравившееся успел выучить наизусть. Часто во время долгих, изматывающих марш-бросков, на которые так щедры были их командиры, он читал полушепотом заветные строки, и — странное дело — мыщы снова наливались силой, все, что мешало бежать: усталость, духота, тяжелая скатка и автомат — все забывалось и становилось несущественным. Эта его новая привычка не ос-

талась незамеченной. Как-то Николай Слижов, друг и сосед по койке, сказал ему после учений:

— Ты что это шептал себе под нос, когда бежали?

— Так, — нехотя отозвался Сазонтьев, — разное. Вбодривал себя.

— Лицо у тебя в этот момент было... — Николай замялся, подыскивая нужное слово. — Странное лицо. Не хотел бы я в эту минуту стать тебе поперек дороги. Ты бы и скалу снес...

После этого разговора Сазонтьев перестал шептать, читал стихи про себя. А однажды с изумлением обнаружил, что к знакомым строчкам стали добавляться новые, свои...

Судьба отца, ни разу им не виденного, существовавшего только в рассказах матери, отца, от которого осталась единственная фотография и запись в свидетельстве о рождении, с детства не давала Сазонтьеву покоя. Ночами, когда казарма засыпала, он вкладывал в мучительно рождавшиеся строки и свое восхищение подвигом отца, и свою тоску сироты и детдомовца, ни разу ни одному человеку не сказавшему: «Папа!». Эти стихи были его болью и радостью, когда он читал их про себя, становилось светло и горько на душе, горько до слез.

Со временем стихов скопилось много, чтобы не забыть чего-нибудь, Сазонтьев стал записывать их в толстую тетрадку в картонном переплете. Тетрадь лежала в тумбочке, и однажды, вернувшись из наряда, он увидел ее в руках Николая Слижова.

Вспыхнув, он подлетел к приятелю, вырвал тетрадь и что-то крикнул обидное и злое.

— Зря ты так, — сказал тот, ничуть не обидевшись. — Стихи у тебя хорошие, настоящие, что надо. И зря ты их прячешь. Я бы на твоём месте отнес в журнал. Пусть бы и другие почитали...

Слова друга поселили в душе Сазонтьева смятение: он долго размышлял над ними и однажды решился... Холодея от волнения, зашел, миновав ворота с вывеской, в маленький дворик, поднялся по лестнице, постучал в дверь.

— Да, — ответил негромкий голос, и Сазонтьев вошел.

В комнате за столом, заваленным бумагами так, что не видно было столешницы, сидел человек в свитере, весь заросший черным с проседью волосом, буйным и нечесанным.

— Стихи? — спросил он, едва бросив взгляд на вошедшего. И, не дожидаясь ответа, хлопнул ладонью по стопке бумаг: — Оставьте. Зайдете недели через две, а еще лучше — три.

Удивленный, забывший свое волнение Сазонтьев положил свою тетрадку и вышел.

Спустя три недели лохматый незнакомец встретил его более приветливо.

— Садитесь, — кивнул на расшатанный, с потертой обивкой стул — Поговорим. Читал я, — он приподнял тетрадь. — Скажите, Михаил, отец, погибший на заставе в первые дни войны, это на самом деле или так... поэтическая вольность?

— На самом деле, — сказал Сазонтьев, насупившись.

— Я так и думал, — лохматый вздохнул — Вот что я вам, Михаил, скажу. Я могу подготовить к печати одно ваше стихотворение Про отца. Для этого мне, скажем так, придется хорошо его переработать. Делаю я это потому, что ваш отец заслужил, чтобы его вспомнили добрым и хорошим словом, — на слове «хорошим» лохматый сделал ударение. — Что же касается остального.. Я не вижу здесь печати поэтического дарования. Говорю вам об этом прямо: вы не барышня, снесете Ну так как, устраивает вас мое предложение?

— Не надо, — Сазонтьев встал и, подойдя, взял со стола свою тетрадку. — Не надо ничего переписывать. Я должен был сам. А раз не сумел...

— Как хотите, — лохматый взглянул на него с любопытством и симпатией. — Надумаете, приходите.

— До свидания, — коротко отрубил Сазонтьев, закрывая за собой дверь.

Тетрадку он уничтожил в тот же вечер, устроив костер на пустыре за казармой; но обида и стыд еще долго жгли его. И хотя стихи сочинять он перестал, интереса к ним не утратил. В увольнениях теперь первым делом заходил в книжный магазин и долго рылся в книгах, часто тут же, у прилавка, проглатывая тоненькие сборники. Со временем он набил глаз и больше не шарил жадно по полкам, просматривая все подряд; искал вдумчиво и целенаправленно. Вступительные статьи и послесловия, на которые раньше не обращал внимания, теперь пробегал глазами в первую очередь, по крупницам выискивая в них нужную информацию. Он покупал только книги поэтов-фронтовиков, с особым тщанием разыскивая стихи тех, кто не дожид до Победы, сгинул на долгих и опасных дорогах войны. Судьбы этих людей, так грубо перечеркнутые свинцом или зазубренным металлом, напоминали Сазонтьеву о судьбе отца; а их стихи он воспринимал как его завещание — завещание поколения, проложившего им дорогу в жизнь ценой жизни собственной...

К первому своему месту службы Сазонтьев поехал с чемоданом, наполовину заполненным книгами ..

Своему пристрастию он остался верен и спустя годы: по-прежнему, как только выдавалась свободная минута, наведывался в книжный магазин, где о его вкусе все были прекрасно осведомлены. Нередко продавцы сами звонили ему, как только поступали новинки. Он покупал не только книги стихов и не только о войне — у жены

и подросших детей имелись свои пристрастия, Сазонтьев относился к ним с пониманием. Но в их семейном книжном шкафу имелась особая полка... В круговерти служебных забот трудно было выкраивать время на чтение, обычно на это оставалась лишь ночь, и тем пронзительнее отдавались в его душе слова-завешания, посланные погибшими поэтами через толщу лет...

Нам не дано спокойно сгнить в могиле —
Лежать на вытяжку и приоткрыв гробы, —
Мы слышим гром предутренней пальбы,
Призыв охрипшей полковой трубы
С больших дорог, которыми ходили.

Мы все уставы знаем наизусть
Что гибель нам? Мы даже смерти выше.
В могилах мы построились в отряд
И ждем приказа нового. И пусть
Не думают, что мертвые не слышат,
Когда о них потомки говорят.

Сазонтьев встал, прислонился лбом к холодному оконному стеклу. Прошептал еле слышно: «Отец...»

7.

Он снарядил оба диска, сложил их в сумку из-под противогаза. Затем взял прислоненную к стене винтовку, вложил в магазин пять патронов, шестой дослал в ствол. Поднял с пола пистолет-пулемет. Несколько штук, их дали месяц назад, этот — один из двух, оставшихся на заставе. Остальные постоянно были у нарядов, дежуривших в секретах у бродов. Там, где могли прорываться диверсионные группы с того берега...

Пистолет-пулемет они выбрали с Цедриком ночью, когда ползали вдоль траншей, разыскивая раненых и собирая оружие. Раненых не было: просочившиеся в траншею фашисты наткнулись на окопчик, где они лежали, и все кончилось в одну минуту. Они притащили в подвал только Белько, несколько винтовок и этот вот ППД. Ручной пулемет Сазонтьев принес сюда раньше. Патронов нашли только цинку.

Старший лейтенант отсосединил диск — в окне его пустынно чернело. Дернул за ручку затворной рамы — на разостланную шинель упал патрон. Сазонтьев поднял его, взглянул на донышко. В крохотном кружке капсюля — вмятина. Осечка. Это был ППД Белько; старшина израсходовал боезапас до конца. А последний патрон подвел...

Сазонтьев положил бесполезное теперь оружие, глянул. Цедрик

спал, привалясь к стене, не выпуская из рук винтовку. Черное от пыли лицо, на котором заметно выделяются белесые брови, худая шея, страдальческая складка у рта... Мальчик.

В желудке вдруг заняло, и Сазонтьев вспомнил, что уже сутки ничего не ел. Порылся в карманах лежащей на полу шинели, в одном из них нашел завалявшийся кусок черного сухаря. Среди подобранного ими в траншеях имущества была и фляга, на дне которой болталось немного тепловатой воды. Он отвинтил пробку, глотнул и закашлялся: по горлу будто наждаком прошлись. Пыли наглотался.

Сухарь он разломил пополам и, прислонившись спиной к стене, стал медленно жевать. Слюны во рту не было, крошки царапали язык, и он глотнул из фляжки еще раз.

Прямоугольник отдушины совсем посветлел, и Сазонтьев решительно потянул Цедрика за плечо.

— А? Что? — встрепенулся пограничник, испуганно взглянув на старшего лейтенанта. — Идут?

— Поешь.

Сазонтьев сунул ему в руку кусок сухаря, подал флягу.

— А-а. Я думал...

— Скоро уже.

Сазонтьев взял пулемет, оттянул на себя рукоятку затворной рамы, встал.

— Огонь вести отсюда, — он указал на отдушину. — Патроны есть?

— Две обоймы.

— Там в цинке еще пара десятков. Зазря не стреляй, только по команде. Понял?

— Слушаюсь.

Старший лейтенант взглянул на пограничника; тот все еще держал в одной руке сухарь, а в другой — фляжку, вздохнул и, спотыкаясь, пошел в дальний угол. Днем сюда угодил снаряд, но прочная, в несколько рядов, кладка не поддалась; разрыв выбил из стены лишь два ряда кирпичей, проделав не совсем правильную, но достаточно удобную амбразуру. Отсюда хорошо просматривался их вчерашний рубеж обороны и даже участок берега. Цепь наступающих покажет ему свой фланг...

Сазонтьев просунул в щель длинное тело пулемета, прикинул сектор обстрела. Хорошо...

Солнце еще не показалось, но уже совсем рассвело, и лишь белесый туман, наползший с реки, скрывал и берег, и траншеи. Несколько чудом уцелевших в снарядных разрывах тополей возвышались над этой молочной пеленой, как черные карандаши, воткнутые в вату.

«Полчаса, ну, двадцать минут, — прикинул Сазонтьев, — раньше солнце туман не разгонит. А наугад они садить не будут — вдруг мы отошли».

Он опустился на пол, прикрыл глаза. Подождем...

Сазонтьев не дремал — вряд ли нашелся бы человек, способный дремать в такую минуту; закрыв глаза и отрешившись от окружающего, он думал. Впервые за последние сутки у него появилась такая возможность, и ее следовало использовать до конца.

Что не учел, какой просчет допустил он, начальник заставы, в строю которой сейчас оставалось два активных штыка? Знал, что на противоположном берегу концентрируются войска и что это не просто угроза? Знал. Последний месяц они не успевали ловить диверсантов, забрасываемых в наш тыл. Понимал ли он, что это неспроста? Понимал. Почему же тогда не вывел людей загодя в окопы и часть их погибла во время первого внезапного огневого налета? Если бы знать день и время... А ты ждал, что тебя о нем предупредят заранее? Чекист, как ты мог?..

Он судил себя решительно и жестоко, и выходило, что по всем меркам не было ему, командиру и партийцу, снисхождения. Пограничники заставы, сержанты и рядовые, чередой проходили перед ним, молча и строго смотрели в глаза, как бы вопрошая, как же ты так, командир? Мы так верили тебе...

Сазонтьев застал от этого видения и открыл глаза. В подвале было тихо, темно, вдаль у отдушины виднелась скорченная фигура Цедрика. Положив винтовку на край подоконника, он напряженно смотрел вперед.

Старший лейтенант вспомнил еще об одном, что необходимо было сделать сейчас. Достал из нагрудного кармана партийный билет и офицерскую книжку, минуту помедлив, положил сверху фотографию Веры. Завернув документы в мятый носовой платок, вложил пакет в снятую с плеча командирскую сумку, старательно прикрыл ее обломками кирпича. С этим все. Достал из кобуры наган, извлек из барабана стреляные гильзы. Осталось три патрона. Он заставил себя запомнить эту цифру — три — и спрятал револьвер.

Снова наступили минуты ожидания, снова он размышлял, раз за разом прокручивая в памяти события вчерашнего дня, и опять, терзая душу, искал в них свои промахи. И как бы ни казалось ему порой, что этих промахов немного, что случилась страшная беда, справиться с которой в одиночку его застава не могла, он не мог позволить этой примиренческой мысли овладеть сознанием. Его бойцы, что застыли сейчас в неловких позах, в которые их свернула смерть, не позволяли ему сделать это. Они отлично дрались, его ребята, отбили восемь атак, как же он позволил полечь им всем на этом росном лугу, в развороченных взрывах окопах? Как?..

Он сидел, прислонившись к стене, и крупная горячая слеза, выкатившись из-под закрытого века, пробежала по щеке и упала на скрещенные на коленях руки; черные, в ссадинах, со сбитыми ногтями руки солдата...

Громкая чужая речь, зазвучавшая совсем рядом, вывела Сазонтьева из забытья. Он вскочил и приник к амбразуре. По лугу, над которым таяли последние клочья тумана, вдоль рубежа их обороны ходили чужие солдаты в зеленовато-серой форме, ходили не таясь, в полный рост; останавливались, перекидывались словами и топали дальше.

Он ошибся еще раз: противник оказался хитрее. Вместо того, чтобы бить из пушек по опустевшим окопам, под прикрытием тумана выслал разведку. И та обнаружила, что здесь живых бойцов нет.

Сазонтьев понял это в один миг. Как и то, что эта ошибка была на руку им. Солдат по полю ходило меньше десятка, они жались в кучу, видимо, напуганные увиденным, лишь офицер, настороженно сжимая в руке пистолет, шел чуть в стороне, заглядывая в окопы.

— Цедрик, — вполголоса окликнул Сазонтьев.

Тот мигом оказался рядом.

— Я их давно убавив, — сказал виноватым шепотом, — калиплыли яшчэ. Але вы казали не стрелять.

— Вот и хорошо, — Сазонтьев подвинулся, освобождая ему место рядом с собой. — Видишь? — указал на офицера. — Стреляем разом.

Цедрик молча изготовился.

Те, на поле, так ничего и не успели понять. Винтовочный выстрел и длинная пулеметная очередь грянули почти одновременно; шквал свинца, ударивший с близкого расстояния, в несколько секунд смел фигуры в мышиных мундирах.

— За мной!

Сазонтьев, держа пулемет перед собой, выскочил из подвала и прыгнул в траншею. Пригибаясь, побежал, слыша позади запаленное дыхание Цедрика.

...Скорченные трупы немцев лежали там, где застиг их огонь; перекосенные гримасами ужаса лица, разбросанное оружие. Сазонтьев торопливо схватил свободной рукой валявшийся у бруствера пулемет, запасную коробку с лентой, сполз в окоп.

— Держи! — сунул он Цедрику свой «дегтярев» Снял с плеча противогазную сумку с дисками. — Сумеешь?

— Так точно

— Стрелять будешь отсюда, — ударил ладонью по брустверу. — Подпустить метров на двести. Меняй позицию — пусть думают, что нас много. Ясно?

— Ясно.

— А сейчас сиди и не высовывай голову — отшибут.

Словно подтверждая его слова, в воздухе прошелестел снаряд: столб черного дыма взвился над местом их недавнего убежища. Сазоньев едва не рассмеялся от радости — артиллерия, как он и предполагал, была по обнаруженной огневой точке. Бейте. А мы еще повоюем.

— Ну, держись! — он хлопнул по плечу Цедрика. Пригнулся и побежал дальше, к крайнему окопу рубежа. Пусть высаживаются, пусть идут. Он ударит по ним с фланга...

8.

Из всех хозяйственных работ Виктор Моложавый больше всего любил эту. Сидишь себе в тенистой, увитой длинными плетями винограда беседке, в руке острый, как бритва, ножик, справа стоит корзина с картошкой, рядом — сорокалитровая кастрюля с водой. Несколько быстрых движений, и клубень из грязно-бурого становится молочно-желтый, плюх! — шпепается в воду. И опять неслышно падают в корзину кривые ленты снятой кожуры...

Чистить картошку было его домашней обязанностью с тех пор, как умерла мать: отец приходил домой поздно, а от Ленки помощи ждать не приходилось — была в таком детсадовском возрасте, что за самой только глаз да глаз. Прибежал из школы, быстроенько налил картошку — хлоп на плиту и поглядывай, чтобы Ленка куда не влезла. Потом сестра подросла, стала понемногу помогать, но состояние постоянной озабоченности и тогда не оставило его. Какое уж тут удовольствие? Здесь — другое дело.

Виктор улыбнулся — в проеме кухонной двери возник повар Чепурной. Они были разных призывов, но быстро сдружились; может быть потому, что оба как бы занимали особое положение на заставе. Володя Чепурной — веселый, добродушный и наивный парень, вопреки традиционным представлениям о поварах худой Веснушчатое узкое лицо с крупным носом на первый взгляд даже кажется строгим. Виктор любит, когда его назначают в хозяйряд на кухню: вдвоем с Чепурным они быстро наводят порядок, а потом отводят душу в долгих разговорах в беседке у кухонного крыльца, где уже не одно поколение солдат чистит картошку на обед.

— На! — Чепурной протянул ему черный сухарь. — Твой любимый. Грызи.

— Спасибо, — Виктор ополоснул руки в кастрюле, осторожно взял сухарь, положил рядом на лавку. Два месяца назад Чепурной удивился, застав его за глотанием черствой черной краюхи, засмеялся. А когда узнал о странной прихоти друга, не забывал подсушить для него в духовке краюху.

— Опять полкотла свиньям снес, — пожаловался повар, присаживаясь рядом. — Не едят. Гречка! На гражданке без блата не достанешь, а они не хотят.

Виктор улыбнулся — Чепурной оседлал любимого конька. Невнимание к приготовленной им пище кровно обижало друга.

— А ты как ее готовил?

— Не видел, что ли? Рассыпчатой.

— И сам ел?

— Да, а что? — насторожился Чепурной.

— С аппетитом?

— Ну тебя! — обиделся повар. — Плохо, скажешь, сготовил?

— Почему, хорошо. Только в такую жару рассыпчатая в горло не лезет.

Чепурной обиженно засопел. Прав друг, нечего возразить.

— Сегодня на обед щи зеленые из молодого шавеля, холодные, — сказал, помолчав, — отбивная с картофельным пюре и кисель. Отбивная из говядины — свинину жирную возят, сало одно, я отказался. Снова тогда все выбрасывать.

— Правильно сделал.

Чепурной аж засветился.

— Во, а то мне Любименко говорит: «Шо за еда без сала», — передразнил он прапорщика. — А я ему так и сказал: не надо!

Чепурной привычно бросил очищенный клубень в кастрюлю.

— Ты сегодня в ночь? — спросил.

— Утром.

— А до этого служишь?

— Нет. Петренко на трактор сел. А одного пока не пускают.

— Повезло. Вечером гости приедут. Девчата из университета. Слышал? — Чепурной аж зажмурился от удовольствия.

— Так уж и девчата?

— Любименко сказал. Он все знает, — уверенно заявил повар. — Филологический факультет — там хлопцев нету. Потанцуем! — Чепурной заерзал по скамье. — С какой-нибудь студенточкой познакомимся. А?

Виктор прыснул. Чепурной, уходя на службу, оставил дома аж двух невест, пообещав жениться на той, которая дождетя. Полгода соперницы писали ему чуть ли не каждый день, уличая друг дружку в неверности. А потом, одна за другой, повыходили замуж. Перестав получать письма, Чепурной заскучал. По своей потере он не очень убивался, но по его представлениям у солдата должна иметься ждущая возвращения любимого невеста. Без нее он чувствовал себя неполноценным.

— Тебе какие нравятся, — не унимался повар, — полные, худые? Что молчишь? По мне так чтоб высокая была, крепкая, красивая. А?

Виктор пожал плечами.

— Странный ты хлопец, друже. Ничего тебе не надо кроме красок своих. Красивая дивчина — это же радость, на нее глядишь — и душа светится.

— Инстинкт.

— Чего?

— Инстинкт говорю. Возраст у нас сейчас такой, что девчата нравятся. Красивые. Хромая, скажем, обречена на одиночество, если не на смерть. А человек может полюбить и увечную, тем более некрасивую. Потому что научился управлять своими инстинктами. Этим и отличается от животных. Если бы все только за красивыми, то сколько б незамужних было!

Чепурной взглянул на него с подозрением

— Ты что, сам до такого додумался?

— Сам.

— Ты, наверное, думаешь все время? Сидишь вот, картошку чистишь, службу несешь — и все думаешь? Да? Я замечал...

— Да...

— А я нет. До четвертого класса думал, а потом что-то щелкнуло в голове и перестал.

Виктор засмеялся.

— Не, правда, — не обиделся Чепурной. — Другой раз что-то мелькнет в голове, замрешь, а так и не вспомнишь что. Вот. Только мне все равно красивые нравятся, и жену себе буду брать только такую. А ты себе — некрасивую, раз тебе их так жалко.

Моложавый снова засмеялся. Ополоснул руки, достал из кармана сигареты. Чиркнул спичкой.

— Охота тебе травиться, — сморщившись, покосился Чепурной. — Смалишь и смалишь целый день.

— Не целый. В наряде не курю.

— Вот и надо тебя на весь день в наряд. А то только топчешься возле своей картины и куришь...

Чепурной споткнулся и замолчал. День назад Виктор жаловался ему: на заставе проходу не дают, спрашивают. Чепурной, которого тоже мучило любопытство, посочувствовал и дал себе слово, что не вспомнит даже о картине. И вот не сдержался...

Виктор хмуро докурил сигарету, примял окурок о кастрюлю и бросил его в урну. Повар следил за ним виноватым сожаляющим взглядом. Хорошо начатая беседа оборвалась и, видимо, продолжения иметь не будет. Эх!

Покончив с картошкой, Моложавый поднялся наверх, в спальном кубрике снял куртку и оторвал старый подворотничок. Достал иголку с ниткой. И, положив куртку на колени, застыл во власти мыслей.

Он не обиделся на Чепурного. Он просто устал. События последних дней: неудача с картиной, ливень, после которого он стал кашлять и сморкаться, назойливое любопытство солдат — все это выбило его из привычного состояния. Ему нужно было на время отрешиться от повседневности, осознать происшедшее, определить свое место в разворачивающихся событиях.

Так было уже не раз. В детстве ему долго казалось, что праздник, в котором он живет, будет продолжаться бесконечно, что кто-то уже сделал за него все: подумал, решил, позаботился — легкая и красивая жизнь ожидает его впереди, и надо только не противиться привычному ходу событий, делать, что говорят.

Смерть матери опрокинула его представления о справедливости устройства окружающего мира. В радостное настоящее пришел страх. Он вдруг отчетливо понял, что все проходящее, что придет время, и он, холодный и недвижимый, вот так же будет лежать на столе, и все исчезнет для него. краски, звуки, запахи; останется лишь чернота. Ему было четырнадцать, когда он впервые задумался о смерти. Боль от утраты пришла потом, а тогда, сжавшись в комочек под одеялом, он плакал от страха и тоски, которые приходили в думах о конечности земного бытия.

В училище, куда он поступил после восьмилетки, он понял, что и сама жизнь устроена пока не так правильно, как представлялось. Среди учеников ходили разговоры о «халтурах», дурных деньгах, которые легко можно «зашибить»; преподаватели, не стесняясь, притаскивали в учебные мастерские щиты, на которых с помощью учеников писали какие-то обязательства и лозунги.

Он был на втором курсе, когда арестовали директора, завуча и нескольких преподавателей. Оказалось, их ученические работы: чеканки, резьба по дереву, гравюры шли в магазин, как изделия мифической артели, а деньги за них — в карманы жуликов. Больше всего тогда Виктора поразило, что во главе этой группы стоял директор: седой пожилой человек с добрым лицом и орденскими планками на твидовом импортном пиджаке. Ему казалось, что это ошибка, не мог этот уважаемый всеми человек так беспардонно наживаться на их ученических поделках. Директор всегда заходил к ним в мастерскую с улыбкой, ласково трепал их по головам, приговаривая. «Молодцы, ребятки! Старайтесь»... Он не верил, а суд вынес приговор...

А потом он познакомился с Володей — «другом с острова Бор-

нео». Тот был приятелем мастера производственного обучения и как-то зашел к ним в мастерскую. Посмотрел, как Виктор работает, хмыкнул и предложил ему «заняться делом».

В каникулы они оформили два сельских клуба: тут-то Виктор впервые познакомился с работой под эгидиаскоп и другими «спец-приемами». Он попытался было возразить против них, но Володя лишь посмеялся:

— Дите ты, Витек. Ты что думаешь, великие не халтурили? Сколько Рубенс полотен написал, помнишь? А Пикассо? Ты, может, считаешь, они в каждое душу вкладывали? Никакой души не хватит. Испокон веков художники работали в двух ипостасях: для клиента, на продажу, и для себя. Какая между нами разница? У Рубенса ученики, у нас эгидиаскоп... Это раз. А во-вторых, разве плохо мы делаем? Ляпаем абы как?

— Нет.

— То-то. Я своей маркой дорожу. В оформители не навязываюсь — сами зовут. Увидит председатель у соседа клуб и просит: дай адрес художника. На меня из-за этого в союзе косо смотрят — хлеб отбиваю. Они бы и сами рады подхалтурить, да заказчик их не желает. Вот так-то.

Виктор больше не возражал. Ему нравился веселый добродушный Володя, а его картины в мастерской — те, что для души, он мог рассматривать часами. Чего уж в самом деле?

А тут еще по окончании работы Володя отсчитал ему ровно половину заработанных денег, хотя и Виктор, и сам Володя прекрасно сознавали, что сделал ученик гораздо меньше. Деньги были большими, никогда столько Виктору не доводилось держать в руках. Дома он торжественно положил их на стол и увидел, как засветилось нескрываемой радостью и гордостью лицо отца. Это был праздник!

На следующий год они опять оформляли клубы, теперь он уже не возражал. Володя держался с ним на равных: вместе курили, случалось, выпивали и даже ходили на вечеринки к девочкам. С ними Виктор, правда, робел, а Володя смеялся:

— Ну-ну, петушок, не тряси гребнем.

Приятель лишь раз отругал его. Когда узнал, что заработанные деньги он вновь отдал отцу.

— Дурак ты, Витек! — сказал убежденно. — Ну дал бы половину, еще пару сотен накинул наконец. Тебе же, во-первых, кисти и краски первоклассные купить надо. Ты ж талант, писать должен. Даст отец? Что он даст... Он кто у тебя, инженер? Разве поймет... Они наше дело считают несерьезным. Да и придется тебе тоже не мешая. Ходишь чуня чуней.

Из-за клубов Виктор даже не явился вовремя на завод, куда его распределили после училища, — они с Володей не успевали. Ругали

его за это не слишком сильно, и вскоре он уже отсиживал смену в тесной маленькой мастерской на втором этаже цеха: писал плакаты, транспаранты, оформлял «наглядную агитацию», как говорили у них. Работа была скучной, зарплата — маленькой. Душу он отводил лишь в мастерской Володи, там постоянно толкались два-три приятеля-художника, велись бесконечные разговоры об искусстве, о том, как «пробиться», как и кто это сумел. Здесь ругали Шилова и Глазунова, хотя Виктор чувствовал, что любой из обличителей «халтурщиков» много бы дал, чтобы оказаться на месте тех. И все равно он любил бывать здесь.

Когда к нему пришла повестка, первым, кому он об этом сказал, был Володя.

— Не дрейфь, — хлопнул его по плечу приятель. — Не пропадешь. Наш брат мазила всюду нужен. Только не забудь вовремя сказать, кто ты. Я вот за два года службы в войсках трижды в отпуск ездил. И жил — будь здоров! Главное, скажет тебе начальство то-то и то-то сделать — делай. И все будет путем.

Это был второй случай, когда Виктору захотелось возразить приятелю. Но он промолчал.

Промолчал и когда их привезли в отряд и стали спрашивать умельцев. Его, правда, все равно «вычислили», по документам, но на границу он все же поехал. Художников в их призыве оказалось много...

До недавнего времени жизнь, как река, несла его в своих волнах, и он не противился, не пытался что-то изменить. Но что-то странное происходило ныне в его душе: он уже не мог жить, как прежде, но и не знал, как по-новому. И все стало меняться с того дня, когда он положил первый мазок на холст.

Он умел работать по-настоящему. В зале их квартиры висел большой портрет матери, писанный им по памяти, тайком от всех. Отец, впервые увидев портрет, вздрогнул, а затем долго стоял напротив, не отводя взора. Он ничего не сказал сыну, но Виктор понял — получилось. Два портрета остались в его комнате-мастерской: у отца усталый печальный вид, а сестренка смотрит весело, дерзко, словно вот-вот покажет язык...

У него получалось, поэтому он и взялся за эту работу.

А она не ладилась. Трижды он записывал холст и трижды сдирал краски мастихином. Не получались лица. Они выходили плакатными, неживыми. Он мучился, не понимая, что происходит. И только недавно стал понимать. Он не дорос еще до этой картины: не как художник — как человек. Для того, чтобы проявить на куске холста подлинные лица тех солдат с их настоящими чувствами и страстями, требовалось особое состояние души, внутренняя гармония и чистота. А их не было...

Лишь после занятий Сазонтьеву удалось выкроить время, чтобы перекусить.

Он торопливо поднялся к себе на второй этаж, поставил кастрюлю с супом на плиту и, расстегнув плотный воротничок, сел у окна. День выдался суматошный: с тех пор как язва уложила в госпиталь замполита, все они были такими. Прикрыв веки, Сазонтьев перебирал в памяти события дня, вспоминая, все ли и так ли сделано.

Выходило все. Наряды отправлены на границу четко по графику, под присмотром Любименко прошла уборка, занятия по политподготовке он провел, а главное, Петренко второй час, как пашет КСП. Пока стемнеет, должен закончить. Уже не так страшно. А завтра борзна пойдет в дело, потом профилировщик...

Сазонтьев вздохнул и улыбнулся: вот ведь как! Сколько лет тащил этот воз один, без старшины и замполита, и успевал. А теперь уже трудно, когда кого-то нет. К хорошему привыкаешь быстро...

Суп согрелся, он налил его в тарелку, отрезал толстый ломоть ржаного хлеба. Ел быстро, по-солдатски; за двадцать лет, прожитых вместе, Лена так и не научила его не спешить. Он и в гостях мгновенно расправлялся с угощением, а потом сидел за столом перед пустой тарелкой и откровенно скучал.

— С тобой нельзя никуда пойти! — бывало сердилась в первые годы замужества Лена. — У тебя такой вид — на всех тоску нагоняешь!

— А что делать, если скучно? — серьезно возражал он.

Сазонтьев и в самом деле не понимал, как это можно часами сидеть за столом, пить, есть, болтать по-пустому, когда вокруг столько дел! В гостях у тестя он в первый же день находил себе работу: чинил крышу, забор, поправлял сарай, вскапывал огород, причем делал это все так, что тесть вскоре приходил на подмогу; старуха, обеспокоенная тем, что деревенские соседи поймут рвение зятя неправильно, присылала мужа, чтобы тот хоть для видимости потоптался рядом. Сазонтьев обладал редким даром находить себе занятие, и когда все было починено, огород вскопан, а дрова поколоты и сложены в аккуратные поленьицы, он загорался какой-нибудь идеей. С помощью соседа тестя — плотника, срубил и поставил на огороде отличную баньку, обшив ее стены расщепленными вдоль тонкими березовыми жердями: к тестю с тех пор многие напрашивались попариться. В прошлый отпуск, увидев колонки на деревенских улицах — колхоз поставил свиномплекс, а заодно протянул водопровод к домам, — и снова загорелся. В одиночку — силы у тестя были уже не те — выкопал пятидесятиметровую траншею, купил у колхоза несколько водопроводных дюймовых труб, и теперь вода в дом

родителей жены и баньку шла изкраников, как в городских квартирах.

— Злой на работу у тебя мужик, — услышал он раз, как сказала Лене мать. — Хорошо с таким... И трудно.

С ним действительно было нелегко: не прощавший себе промахов, Сазонтьев не склонен был прощать их и другим. Потому, подумав о жене, он с теплотой припомнил, что все эти годы она безропотно несла свою нелегкую ношу: растила детей, учительствовала в школе, тащила ворох домашних обязанностей — он иногда готового поесть не успевал — и при этом еще по-женски, ненавязчиво, смягчала все его резкости, не обижалась, сдерживала себя. Сазонтьев и сам не заметил, как выросли дети: сыну шел девятнадцатый, он учился в мединституте, дочь перешла в десятый. Они были обычными детьми: как все болели и рвали одежду, мучились над задачей и задавали бесчисленные вопросы; и жена их лечила, общипывала, читала на ночь сказки и помогала с задачей. У него же было одно — граница, ей он отдавал все силы и время, сейчас же Сазонтьеву все чаще казалось, что он мог и должен был, особенно с тех пор как появились на заставе Любименко и Николай Петрович, всерьез заняться воспитанием детей.

Сын не пошел по его стопам, выбрал гражданскую профессию, мысль об этом до сих пор больно ранила Сазонтьева. Ему так хотелось передать заставу из рук в руки, чтоб уже не только сын, а и внук старшего лейтенанта Сазонтьева охранял участок границы, полный кровью его деда. Не вышло. Сын лицом и характером пошел в мать: спокойный, улыбчивый, он сделал выбор и твердо отстаивал его, хотя отец до сих пор считал себя виновным, что не сумел переубедить. Теперь поздно. Дочь пошла в него: резкая, острая на язычок жадная до работы. Но дочери заставу не передашь...

Сегодня ему предстояло еще одно дело, и, вспомнив о нем, Сазонтьев вздохнул. Не вовремя эта встреча, работы на заставе — край Ремонт КСП, системы, траву надо обкашивать, да и само здание кое-где подкрасить, подбелить. Но отказаться неудобно. О встрече договаривался замполит, а Сазонтьев не любил отменять чужие решения. Тем более, что солдаты уже знают. Со вчерашнего вечера чистят и гладят... Новиков и Дика тренировал: сегодня один из пограничников наденет стеганный защитный костюм, побежит вдоль футбольного поля, и Дик в несколько прыжков догонит нелепую фигуру, ударом передних лап в полете собьет с ног, а потом, рыча, будет трепать пустой рукав. Девчата завизжат от восторга, захлопают в ладоши — им все в новинку, а солдаты напустят на лица всепонимающий снисходительный вид. Эдакие победители нарушителей, волки границы. А потом Новиков предложит кому-нибудь из гостей спрятать носовой платок...

Сазонтьев сам не очень любил такие мероприятия, но с легкой руки замполита они прижились и в последние годы стали частыми.

— Понимаете, Михаил Алексеевич, надо, — убеждал его заместитель. — Они же совсем ребята, от семьи, родных оторванные. Пусть потанцуют, поговорят, адресами поменяются. Все легче.

— Вот именно: разлимонятся, домой захотят, письма начнут строчить. Не до службы.

— Нет! — горячился замполит. — Наоборот. Осознают свою роль, что берегут.

— А то они до сих пор не знали!

— Знали, конечно. И все же. Нельзя парням только в мужском обществе. Анекдотики начинают рассказывать... Слышали? С матерком... Женщина облагораживает.

— А что у нас женщин на заставе нет?

— Это ведь не их жены и невесты...

Николай Петрович был прав, Сазонтьев спорил с ним по привычке. Три женщины, жившие на заставе, были заняты своими делами. У всех росли дети, все работали. Только Маруся Любименко, чернобровая, маленькая, круглая — на заставе ее тишком, за глаза, звали «кубометр ходячий», — сейчас находилась в декретном отпуске, и ее мягкий высокий голос постоянно нарушал строгую тишину воинской части. Маруся давно поняла, что на заставе дети не пропадут — истосковавшиеся по дому пограничники не спускали их с рук, да и ребята так и липли к ним, — и мать только для порядка время от времени покрикивала на сорванцов с крыльца. А исполнив родительский долг, шла варить мужу огненный украинский борщ. Один раз она угостила им Сазонтьева, тот, после того как полчаса откашливался, потом день пил воду, под всяческими предложениями уклонялся от повторных приглашений. Про замполита с его язвой и говорить не приходилось. Зато Любименко, посмеиваясь, поглощал это огненное варево в неимоверном количестве, и, судя по его фигуре, эта композиция из воды, перца и капусты здоровью прапорщика не угрожала.

В праздники офицерские жены сообща пекли торты и пироги для солдат и вместе с ними сидели за столами — это было давней традицией. Вот и все общение.

Сазонтьеву оставалось сделать еще кое-что, и, открыв шкаф, он достал плоский картонный ящик, аккуратно перевязанный шпагатом. Открыл его и медленно выложил на стол офицерскую сумку-планшет старого образца, засохшую и покоробленную, партбилет, бурый от давней ржавчины наган, портсигар из потускневшего металла...

Это были вещи отца и бойцов заставы, найденные в подвале и на поле боя в карманах убитых и под обломками кирпичей. В Ленкомнате стояла специальная витрина, где лежали реликвии, на время

ремонта Сазонтьев забрал их. Думал вернуть на место, когда все будет сделано. Теперь ждать уже не было смысла. Приедут гости... Он присмотрел человека, который расскажет им о последнем дне заставы...

Сазонтьев взял в руки сумку, осторожно открыл кожаную крышку и уже в который раз тщательно осмотрел каждый шов. Это было глупо, он понимал, но, как и много лет назад, волнение славил горло, а пальцы щупали кожу, надеясь отыскать в какой-нибудь ранее не замеченной складке листок или хотя бы обрывок бумаги. Он не мог поверить, что отец, даже в те минуты смертельной опасности, не написал ему, сыну, несколько слов. Хотя бы одно! Сколько находили потом и, случается, находят и сейчас прощальных писем и предсмертных записок! Не мог отец забыть о нем тогда, не мог!

Он взглянул на увеличенный портрет на стене. Широко открытые глаза человека в гимнастерке с тремя кубарями в петлицах смотрели на него строго и задумчиво. Сазонтьев встал, тихо подошел к портрету и, как в детстве, долго и с надеждой искал во взоре отца какой-нибудь новый, не замеченный прежде оттенок.

Так они и смотрели друг на друга: молодой отец в черно-белом прошлом в узкой рамке и поседевший, на четырнадцать лет переживший его сын. Начальник заставы, встретивший войну, и нынешний Старший лейтенант и майор. Два родных по крови и духу человека, для которых защита этой узкой полоски берега стала не просто службой — единственным и главным делом жизни. За которое жизнь сама, если нужно, отдать не жалко...

11.

Танцевали во дворе. В раскрытых настежь окнах связисты установили колонки стереосистемы, солдаты вынесли наружу стулья, в стихийно образованном кругу тихо двигались первые и пока немногочисленные пары. Остальные, гости и хозяева, пока сидели и стояли, присматриваясь друг к другу.

Без меня тебе, любимый мой,

Земля мала, как остров

Без меня тебе, любимый мой,

Лететь с одним крылом...

Голос певички, низкий и мягкий, обволакивал, овладевал сознанием, задавал ритм. Запись готовили загодя, и на этой кассете не было быстрых мелодий: не так уж часто выпадают на долю пограничников такие вечера, чтобы разменивать их на тупое групповое топтание. Сегодня в программе только парные танцы.

Виктор стоял несколько поодаль, в тени старой вышки. Слушал и смотрел. Час назад он водил по Ленкомнате гостей — шумливую

стайку девчат-студенток, в толпу которых, как казалось, непонятным образом затесалось трое парней. Поручение Сазонтьева застало его врасплох: только что он раскладывал реликвии по витринам; они, казалось, еще хранили тепло его рук, и, рассказывая, он запинаясь, глотал окончания слов, сбивался на скороговорку. Однако слушали его хорошо. Может быть, потому, что несмотря на растерянность, говорил он горячо, страстно, убеждая. Даже та черноглазенькая, бойкая, что накануне хихикала на хоздворе, заведя поросят, даже она преобразилась: посерьезнела и только смотрела на него в упор широко открытыми влажными глазами. Из Ленкомнаты гости выходили притихшие, а черноглазенькая задержалась у витрины с реликвиями и, низко склонившись, долго и пристально рассматривала их. Виктор не решился ее окликнуть, она сама спохватилась и вышла следом за всеми.

— Скажите, — спросила тихо. — Вот это — она запнулась, — то, о чем вы рассказывали, откуда известно? Вы же сами говорили, что все погибли...

— Все неизвестно. Местных жителей согнали хоронить погибших, они видели, где лежали наши пограничники и сколько было убитых немцев. Люди собрали документы, часть которых сохранилась. А сумку начальника заставы нашли уже после войны, случайно.

— Странно, вы рассказывали так, будто сами все видели.

— Я и видел.. — Виктор запнулся и покраснел. В глазах этой студентки он, наверное, выглядел сейчас пустым бахвалом. — Я изучал это. Думал, сопоставлял. Есть такое понятие — реконструкция событий. Приходилось слышать? — закончил он чуть грубовато.

— А зачем вам все это?

Вопрос был неожиданным и настолько странным, что он опешил. Что значит «зачем»? Зачем человек живет, дышит, радуется? Как можно спрашивать о таком?

— У вас есть дедушка с бабушкой?

— Есть.

— А прадедушка?

— Не-ет... Давно умер.

— Что вы о нем знаете?

— Как что? — не поняла она.

— Кто он был, где жил, в какое время, кем работал? Он воевал?

— Не знаю.

— А дедушка?

— Кажется, не воевал. Не знаю. Он никогда об этом не рассказывал.

— А вы спрашивали?

— Нет.

— Может, родители говорили?

— Не-ет...

— Как же вы живете? — Виктор смотрел на нее с удивлением. — Как вы можете жить, не зная о своих самых близких людях ничего? Это же не просто ваши папа с мамой, бабушка и дедушка, — это наше прошлое, история. Настоящая. В учебнике даты и цифры, а люди той поры — вот они. Они помнят, как и чем мы тогда жили, как все было на самом деле. И мы с вами тоже принадлежим истории. Вот спросит вас лет через двадцать сын: «Мама, а как вы жили, кем был наш дедушка?» Что вы ему скажете? Никто? О героях наших слушаете, восхищаетесь, а может, ваш дед или прадед тоже герой. Как можно жить, не зная этого?

Его понесло. Он чувствовал, что говорит путано и, наверное, несудительно, но уже не мог остановиться. Она слушала потупясь, не пытаясь возражать. Потом ее окликнула подруга, и она отошла.

Сейчас, вспоминая этот разговор, Виктор морщился, чувствуя себя неловко. Зря он так. Чего в самом деле набросился? Сам много ли лучше? У него тоже был дед... За что его расстреляли, как? Лживый донос, как уверяла тетка, или все-таки связь с партизанами? Вспоминала же бабка, как пекла хлеб для людей из леса.

Задумавшись, он отрешился от происходящего; музыка, танцы — все исчезло. Чувствительный удар в плечо вернул его к действительности.

— Привет!

Перед ним стоял Чепурной во всем блеске вычищенного и отглаженного парадного мундира. Справа на груди сияли знаки солдатской доблести — их даже на беглый взгляд было явно многовато.

— Привет... — Виктор скользнул взглядом по груди повара, улыбнулся — Откуда столько? — он тронул красивый, похожий на медаль, знак «Отличник погранвойск». — За что получил?

— Ладно, — смутился Чепурной. — Все в порядке. Знаки у Петренко одолжил, он все равно сейчас полосу пашет. Вернется — отдам.

— А если Сазонтьев увидит?

— Не увидит, — повар сделал неопределенный жест. — Чего ему к нам приглядываться? Лучше идем танцевать. Тут, брат, такие. — Чепурной по кошацьи зажмурился и pokrutil головой. — Идем, что ли?

— Я потом.

— Как знаешь.

Чепурной повернулся и скользнул в толпу танцующих.

Музыка стихла. И наступившую тишину вдруг прорезал высокий и густой звук трубы. Он плыл над умолкнувшей заставой мягко и плавно.

но; плача и жалуясь, труба пела о прекрасном и чистом, что ушло навсегда — не догнать, не вернуть...

Виктор вздрогнул: он узнал мелодию. Отец принес пластинку в ярком конверте вечером, не раздеваясь, прошел в зал, поставил на проигрыватель. Жаловалась и плакала в тесной комнате труба, а отец сидел на диване, подперев кулаками подбородок, и крупные, тяжелые слезы медленно плыли по его худым темным щекам, срывались на пол. Никогда раньше Виктор не видел его таким

На следующий день, оставшись один, он прослушал всю пластинку: были здесь вещи веселые и не очень, но одна, та, что слушал отец, и впрямь трогала. Называлась пьеса «Одиночество». В тот день Виктор впервые задумался о взаимоотношениях отца и матери. Отец не женился второй раз, растил их в одиночку, хотя сердобольные соседки (Виктор сам слышал) не раз довольно навязчиво предлагали познакомить «с хорошей и порядочной женщиной». Виктор и сестра считали отказы отца само собой разумеющимися, и только в тот день он понял, что стояло за ними и почему так действовала на отца пьеса трубача из Амстердама...

— Вы почему не танцуете?

Его недавняя черноглазая собеседница стояла перед ним. Виктор улыбнулся и пожал плечами.

— Что, комплексы мучат?

Он засмеялся: черноглазая, видно, хотела взять реванш

— Идемте лучше танцевать, — сказал весело

Они вступили в круг, и, дивясь неожиданной легкости, он плавно и уверенно повел ее. Секунду назад ему бы показалось кошунством танцевать под эту мелодию, но сейчас все вдруг забылось и ушло.

— Скажите, — она коснулась его груди, — почему у вас здесь ничего нет, знаков этих? Плохо служите?

— Мало.

— Да? — удивилась она. — А я думала... Вам сколько лет?

— Двадцать один.

— А почему?.. — она не договорила.

— Три года в училище учился после восьми классов. Потом работал.

— Кем?

— Оформителем на заводе. Плакаты писал. Чему и учили.

— Так это вы? Там, в музее?

— В Ленкомнате. Вас как зовут?

— Галя.

— Меня Виктор. Да, Галя, это я.

— Теперь понятно, — та их стычка все еще не давала ей покоя, — понятно, почему вы все так хорошо знаете. По работе.

— Не только, — покачал он головой

Больше она ничего не спрашивала, он тоже молчал; они медленно плыли по кругу среди других пар. Пока не кончилась музыка.

— Идемте, — Виктор взял ее под руку, и они, обогнув здание заставы, вышли за ограду. Здесь в тени старой сливы стояла узкая скамейка, выкрашенная, как и забор, зеленой краской. — Садитесь.

Он подождал, пока она села, и примостился рядом.

— Теперь давайте говорить. Вам ведь хотелось, так?

— Уже не хочется, — Галя сорвала травинку, задумчиво прикусила ее. — Об этом не хочется. Вы правы, что спорить? — она вздохнула. — Хотя обидно, конечно. После школы — медаль, в университете по истории пять, а тут... Ладно! — она повернулась к нему. — Расскажите лучше о границе.

— Да вот она! — он указал на кусты неподалеку. — Слышите, журчит? Река. Граница по фарватеру.

— Ну, а эти... Нарушители?

— Я не видел. А вот Петренко, мой старший наряда, в прошлом году задержал. Медалью наградили.

— Ну? Что, стреляли?

— Обошлось.

— За что же тогда медаль?

— За работу. Они с Новиковым, тем, что собаку вам сегодня показывал, пятнадцать километров по следу шли. Петренко его первым настиг, оружие выбил.

— А кто он был, этот?..

— Не знаю. Мы ведь их только задерживаем, разбираются другие.

— Ну, так неинтересно, — пожала она плечами. — Я бы от любопытства умерла. Как это...

Он не ответил.

— Скажите, Виктор, — спросила она после паузы, — вам не трудно здесь? Вот эта солдатчина?

— То есть?

— Понимаете, я всегда как-то недолюбливала солдат: форма, сапоги, грубость... Придешь на танцы, а они нацепят на мундиры цыцек блестящих — кто побольше — и ходят, как гусаки. Мы, мол, защитники. А сами матерятся и на ноги наступают. Сапогами. Я, по правде говоря, сюда и ехать не хотела: думала, что будет так же. Начнут подвигами хвастаться. Подруги уговорили.. А вы вот не хвалитесь

— Чем?

— Хотя бы работой своей. Ленкомнату оформили прекрасно; можете мне верить — я в этом понимаю

— Еще не окончил.

— Все равно. Вы художник, человек с тонкой душой, эмоциональным восприятием мира. А тут сапоги, форма, грубость... Не тяжело?

— Легкого мало, — он медленно набрал воздух в легкие. Второй раз за сегодняшний вечер эта пигалица выводила его из себя. — Значит, грубость?.. Вы, Галя, в городе живете, с папой-мамой?

— Да.

— Квартира с удобствами?

— Ну?

— А вы никогда не задумывались о том, что дом, в котором живете, кто-то построил, горячую-холодную воду в квартиру провел, автобус, на котором едете в университет, тоже кто-то ремонтирует и водит; есть люди, которые встают засветло, чтобы убрать двор вашего дома, а иные не спят ночами, чтобы были у вас и свет, и вода, и хлеб, и молоко, и обувь, и одежда?..

— Они за это деньги получают.

— А вы за что будете? Сочините диссертацию о каком-нибудь наречии? А вы уверены, что ваша будущая работа нужна им: тем, кто убирает, шьет, растит?

— Не знаю...

— А раз не знаете, так будьте добры хотя бы уважать их труд. Да, у механизатора руки черные, доярка в резиновых сапогах ходит, а солдаты не щебечут, как соловьи; но не делай они свое, как положено, кто бы думал о глаголах и наречиях?

Он резко встал.

— Виктор! — она схватила его за рукав. — Извините. Не надо так. Я не думала...

Он не ответил. Замерев, смотрел на дозорную тропу. Шатаясь и падая, к заставе брел человек в черной от грязи одежде и с таким же черным лицом. Знакомым лицом...

12.

И опять вышло не так, как он рассчитывал: немцы двинулись в обход, заходя в фланг. Они пытались сделать это и вчера, но тогда он выслал на фланги две группы с автоматчиком в каждой. С высокого обрывистого берега пограничники хладнокровно расстреляли лодки с десантом; тех же, кто успел высадиться, забросали гранатами.

Теперь ему некого было высылать; скрипя зубами, Сазонтьев смотрел, как одна за другой исчезали под верхней кромкой берега лодки с чужими солдатами. О том, чтобы самому пробраться, не стоило и думать: триста метров открытого пространства — его сни-

мут с противоположного берега в течение минуты. В обход, кустами, он просто не успеет.

У него был только один козырь — то же открытое пространство. Десанту его нужно преодолеть. Что ж, пусть пробуют.

Он выдвинул длинное и тяжелое тело трофейного пулемета за бруствер, уперся сошками. Приложился. Сектор — лучше не придумаешь.

Те, под берегом, тоже, видимо, это поняли. Или осторожничали. Не выскочили, не повалили толпой, а вдруг брызнули сразу с двух концов, и, падая и подымаясь, серо-зеленые фигурки перебежками двинулись прямо на него. Сазонтьев нажал на спуск.

Стрелял он короткими очередями, экономя патроны, только когда там, на поле, вставали. И все равно пулемет гремел почти безостановочно, а десант, теряя людей, все же медленно и верно приближался к его окопу. Падали и не вставали на поле все меньше: пока он ловил в прорезь прицела одну фигуру, другие солдаты, лежа, стреляли по нему — огонь этот, малоприцельный и торопливый, подавлял своей массированностью; пули, не стихая, пели над головой, выбивали из бруствера комья земли; целиться Сазонтьеву было все трудней. Лента кончилась быстро, и пока он, торопясь, менял коробку на незнакомом оружии, немцы подошли совсем близко — их разделяло лишь несколько десятков метров. Еще немного, и они придвинутся на бросок гранаты. Тогда все.

Сазонтьев не сразу сообразил, как это в гулкий грохот его пулемета вплелся другой звук, резче и залистее. И лишь когда увидел, как одна за другой падают впереди темные фигуры и остаются лежать неподвижно, понял. Он недооценил Цедрика. Тот оказался сообразительным бойцом. Зашел во фланг наступающим и ударил кинжальным огнем, когда те поднялись.

Наступающие дрогнули, наступил миг, который решает все. Через минуту они опомнятся, поймут...

— Вперед! За Родину!

Он выскочил из окопа, яростно крича и поливая перед собой свинцом, побежал на врагов. И те дрогнули. Сазонтьев видел перед собой спины, он даже различил темные от пота пятна на них и все стрелял, крича, пока пулемет не заглох — кончились патроны.

Опомнился он на берегу. Один.

— Таварыш камандир! Нате!

Неизвестно как оказавшийся рядом Цедрик сунул ему в руку гранату на длинной деревянной ручке, Сазонтьев дернул за шнур запала вниз, мгновенно сообразив что здесь к чему, и швырнул гранату под берег. Цедрик сделал то же. Два сильных разрыва почти слились в один; внизу страшно и дико закричали, и все стихло.

— Назад, Цедрик! Бегом!

Они почти успели. До окопа оставалось совсем немного, когда сверху завылло, и позади выросли четыре минных куста. Сазонтьев ошутил, как с размаху ударило в плечо и ногу, а Цедрик коротко ойкнул и упал.

Старший лейтенант, бросив тяжелый и бесполезный теперь пулемет, здоровой рукой схватил пограничника за воротник и вместе с ним скатился на дно окопа.

От резкой боли он на миг потерял сознание, а когда очнулся, не сразу понял, где он, почему вокруг темно и кто это навалился на него сверху такой тяжелый. Пошевелился. Заныли раненые рука и нога, боль привела его в чувство, и он кое-как выбрался из-под придавившего его к земле Цедрика.

Тот был мертв. Сазонтьев понял это с первого взгляда. Лицо бойца застыло в гримасе боли, из маленькой ранки чуть сбоку от затылка сочилась кровь.

Сазонтьев поднял валявшуюся рядом фуражку, прикрыл лицо убитого. Вот и все. Остался один. Сам командир и сам боец. Начальник уже не существующей заставы.

Морщась и кривясь от боли, он стащил через голову гимнастерку, разорвав на ленты нижнюю рубаху, кое-как перевязал раны. Они были неопасными — в мякоть, но ныли безостановочно, и Сазонтьев с горечью подумал, что в атаку ему ходить уже не придется.

Разрывы мин вверху стихли, осторожно выглянув наружу, он увидел неподалеку обрonnenный Цедриком «дегтярев», сползал за ним. Достал из противогазной сумки убитого два оставшихся диска, заменил использованный. С секунду подержал его в руках и, вспомнив, достал из нагрудного кармана записку Цедрика.

На клочке бумаги был только адрес: район, сельсовет, деревня, фамилия родителей. Написать им обо всем он уже не сможет...

Сазонтьев порывлся в карманах — у него с солдатских лет была привычка таскать с собой огрызок карандаша — на счастье тот не потерялся, уцелел. Старший лейтенант положил листок на пустой диск, разгладил и торопливо вывел сверху «Вера!». Мгновение подумал и дописал рядом: «И Михаил!».

Писал он торопливо — времени обдумывать каждое слово не было. Карандаш царапал обломанным грифелем бумагу, рвал ее, попадая на неровности. Закончив, Сазонтьев свернул письмо в трубочку, засунул в пустую гильзу — их много валялось под ногами — и заткнул отверстие огрызком карандаша. Тот пришелся как раз по диаметру, для верности старший лейтенант заколотил его поглубже рукояткой револьвера.

Что дальше? Он повертел гильзу с письмом в пальцах, оглянулся. Решительно стащил кобур с ремня, достал из противогазной сумки масленку. Она ему больше не понадобится.

Щедро полив ружейным маслом остатки рубашки, он завернул в них гильзу, затолкал сверток в кобуру. Положил в нишу в стенке окопа и, нажав здоровой рукой на верхний край, обрушил землю. Немцы не найдут, а когда придут свои и начнут восстанавливать линию обороны, то обнаружат. Надежда на это была шаткой, однако ничего другого ему не оставалось, и он заставил себя поверить, что так все и будет.

Сазонтьев выглянул из окопа. Противник не подавал признаков жизни, но старший лейтенант прекрасно понимал, что это ненадолго. Придут в себя, оценят обстановку — чего ее оценивать, наверняка видели, что их тут только двое, — и полезут. Эта атака будет для него последней.

Старший лейтенант сунул наган в карман, поднял пулемет и сумку с запасным диском, ковыляя, побрел по траншее. К заставе.

Снаряды разбили перекрытие подвала, кое-где обрушились стены, и все-таки это было укрепление. Из проемов можно вести огонь во все стороны, что как нельзя кстати. Пришел черед круговой обороны.

Спотыкаясь о груды кирпичных обломков, он пробрался к амбразуре, откуда они с Цедриком скосили час назад вражескую разведку, выбрал удобное место. Прямостив пулемет на сошки, стал ждать...

13.

Что бы там ни было, а Петренко любил эту работу: мощный рокот тракторного дизеля, послушный легкому движению его рук ход машины и темный влажный след поднятой плугами земли, остающийся за трактором. Он специально попросил, чтобы в совхозе навесили плуги — обычный культиватор убитую ливнем землю лишь поцарапал бы. А так он взрыхлит ее глубоко — до холодов продержится.

Трактор в этот раз им дали без кабины, главный механик только руками развел — посевная, — но Петренко не переживал. Земля еще не просохла, пыли бояться не приходилось, а легкий ветерок, веявший с реки, смягчал зной. Работалось хорошо, он даже тихонько запел в такт ровному гудению мотора. Старая привычка, домашняя. Пройдет немного времени, и он сядет за руль дома. Недолго ждать осталось.

— Сделаешь полосу и поедешь, — сказал ему утром Сазонтьев. — Я все помню, не волнуйся.

Отпуск ему объявили полгода назад, сразу после задержания, но поездка домой все откладывалась. То зима стояла бесснежная, КСП промерзала так, что строем ходи — следов не останется, и пришлось ее охранять по усиленному варианту. Потом надо было натаскивать молодых, смену свою. Пять дней назад Сазонтьев даже назвал ему день отъезда, но ливень перечеркнул сроки.

Он уже совсем настроился: собрал «дипломат», отгладил «парадку» и даже проколол в новеньком мундире дырочки для знаков: он не надевал его дывным-давно. Все было готово. И сорвалось. Обидно.

Сейчас, сидя за рулем, Петренко уже не переживал — отлегло. Да и коли на то пошло, два дня не задержка. Больше ждал.

Мысленно он уже видел себя шагающим по широкой заасфальтированной улице села: зеленая фуражка, знаки во всю грудь, слева медаль — соседи повиснут на заборах. Поезд к ним приходит вечером, как раз все дома будут. Дойти до родной калитки ему не дадут, обязательно остановят, начнут расспрашивать Баба Галя, та посмотрит подслеповато и спросит:

— Чи тебе, хлопче, отпустили вже?

— Не, тетка, — скажет он. — В отпуск приехал

— Во! — удивится она. — А як же?

— Заслужил, — ответит он с достоинством.

Матери, конечно, о его приезде донесут раньше, чем он дойдет, она выбежит на улицу, кинется к нему. Отец выйдет за калитку и будет с достоинством ждать, пряча радостную улыбку в густые усы. Сестры облепят со всех сторон...

Сколько раз уже рисовал в мыслях Петренко эту картину, и все не надоедало, снова и снова он возвращался к ней, подбирая новые подробности. Конечно, под вишней во дворе поставят стол, соберутся соседи, родня, во все глаза будут смотреть на его награды, спрашивать... Пусть знают теперь! Много ли хлопцев приходит в село со службы с медалями? То-то.

Погуляет он, наверное, денька два, не более. Потом заглянет, как бы невзначай, в контору колхоза. Поздоровается за руку с «головой» — Миколой Петровичем.

— Ну шо, герой, — скажет тот, — не надоело бока отлеживать? Не забыл там, как трактор ходит?

— Не забыл, — ответит он.

— Тогда сидай за свой. Я прикажу, каб завтра с утра...

И вот утром он легко заберется в кабину синего МТЗ, включит передачу и лихо вылетит за ворота машинного двора. Его, наверное, поставят возить сено на ферму, прошлогоднее. Пока тележку будут разгружать, он перекинется шуточками с девушками-доярками. А те будут стараться одна перед другой: кому не охота, чтоб именно тебя приметил бравый пограничник, тебе одной улыбнулся. А вечером, на танцплощадке в старом парке, он же пригласит танцевать. Да так, чтобы все сразу увидели и поняли: сын Михайлы Петренки положил глаз на Наталку — отступись другие хлопцы!

Эта картина заставила Петренко вздохнуть. Его возвращения должна была ждать Иринка-малинка, но она скоро год, как заму-

жем, и тут уж ничего не сделаешь. То были черные дни; что больше всего угнетало его тогда, так это то, что она до последнего писала ему также ласково и любяще, придерживая, видимо, про запас. И если бы не Николай Петрович, душа-человек, трудно сказать, чем все кончилось бы.

«И почему хорошим людям так не везет? — думал Петренко, трясясь на жестком сиденье трактора. — И болеют часто, и живут недолго. А может, это как раз потому, что они хорошие? Плохой разве посочувствует, поможет? А они все на себя, вот и не выдерживают...»

Он начал пахать полосу со внешней, обращенной к границе стороны, и теперь ему оставалось пройти с внутренней до заставы. И все на сегодня. Он с удовольствием подумал, как вкатит во двор, зайдет в летний душ и будет долго с наслаждением плескаться под струями тепловатой, нагретой солнцем за день воды. Потом Чепурной поставит ему на стол горячий ужин, он поест и завалится спать — завтра вставать чуть свет. А может, еще посидит на крыльце, посмотрит, как танцуют хлопцы. И это можно.

За поворотом у старой заставы он различил сквозь клекот мотора дальнюю музыку и улыбнулся: «Пляшут, черти!».

Он не позавидовал — чего в самом деле! Напляшется дома. А ребята пусть. У них же нет отпуска...

И в этот миг земля под колесами его трактора вдруг дрогнула и двинулась вправо, к реке. От неожиданности он резко затормозил и двинулся двигателем. В наступившей тишине особенно громкой показалась музыка, звучавшая вдали, ее прервал оглушительный грохот обрушившейся в воду земли.

Петренко прыгнул на дозорку. Минуту стоял в растерянности. Что-то случилось — не могло же ему в самом деле померещиться? Но что?

Он оглянулся по сторонам. Увидел сверху, у самого гребня дамбы, черную полосу земли, хорошо заметную на зеленом фоне травы.

Спустя мгновение он был здесь. Извилистая, примерно в метр шириной трещина бежала по гребню, теряясь за поворотом. И Петренко понял.

У них в селе несколько лет назад после сильных дождей сползло в овраг поле в добрый десяток гектаров. Оползень... Учитель в школе объяснял им потом природу этого явления. Он запомнил одно — не надо, чтоб сверху была вода. Иначе земля поплывет по подпитанному ею глинистому слою, как по льду.

Он окинул взглядом пространство, огражденное трещиной: больше сотни метров. Трещина — он заглянул — глубиной метра в три. Если этот участок берега сползет в реку... Он даже зажмурился, представив эту картину. Река, перегороженная, выйдет из берегов,

хлынет в широкую брешь, сделанную оползнем, ринется на заставу, поля, смоем все начисто...

Надо было что-то делать, и Петренко колебался лишь несколько мгновений. Конечно, лучше всего, если бы сейчас здесь были два десятка ребят с лопатами. Они бы мигом прорыли канаву и спустили в реку воду, что доверху заполнила поросшие травой и кустами окопы и траншеи у старой заставы, ту самую воду, что наплатила глину под берегом. И все бы обошлось. А если нет? Петренко представил, как, набирая скорость, ползет в реку берег, как падают в трещины его товарищи, и с ревом мчится поверху мутная вода...

Он спустился вниз, завел мотор трактора, включив заднюю передачу и подняв плуги, осторожно двинулся назад. Там, где старая линия обороны ближе всего подходила к гребню дамбы, а та была совсем низка, развернулся. Опустил плуги и медленно повел борозду к реке.

Стараясь не думать о том, что будет с ним, если оползень двинется сейчас, он прошелся так дважды. У самой кромки берега остановил трактор и снял прикрепленную позади машины лопату (на его счастье хозяин МТЗ оказался запасливым). Берег здесь был песчаным, и недостающие метры он прокопал быстро. Не беда, что мелко, вода углубит и расширит. Она роет — не чета ему.

Оставалось последнее — пустить воду с дамбы. Петренко прикинул: с лопатой на это потребуется минимум полчаса. Сейчас у него просто не было столько времени.

Он снова завел трактор, подняв плуги, медленно взобрался задним ходом на дамбу. Опустил плуги. И, включив самую мощную передачу, отпустил педаль сцепления.

Трактор вздрогнул, выплюнул из трубы черный ком дыма и медленно пополз вниз. И в ту же секунду из-под колес вырвались черные струйки, расширяясь и набирая силу, они побежали вниз к прорытой канаве и дружно влились в нее; набухая и кружась, поток ринулся к реке.

— Так вас! — ликующе закричал Петренко. — Так вас! — и вжал до отказа в пол кабины педаль газа.

Трактор рванулся вниз и вдруг резко осел набок, словно бы кто землю выдернул из-под правого колеса. Петренко выбросило из сиденья; так и не поняв, что произошло, он упал лицом в холодную черную грязь...

14.

В грудь ему словно забрался неведомый зверь; ворочаясь, он рвал острыми когтями легкие, было нестерпимо больно; механически, не сознавая, Петренко уперся ладонями в мягкую и скользкую, как

кисель, землю, поднял голову. Выплюнув черный ком грязи, долго, с надрывом, кашлял; затем долго дышал, с наслаждением глотая воздух. Боль притихла, но не исчезла совсем; сплюнув, он увидел рваное красное пятно на черном фоне земли. Сел, огляделся.

Он упал в старую лужу, в пятно жидкой грязи на дозорке. Упал плохо, болела не только грудь: ныла нога, пылала голова.

Трактор стоял метрах в трех от него, так осев на правое заднее колесо, что оставалось только удивляться, как он не перевернулся. Эх, была бы кабина! Все обошлось бы ушами...

Встал он с третьей попытки, сильно припадая на отдававшую острой болью ногу, подошел поближе. Для того, чтобы понять, что случилось, хватило беглого взгляда.

Он попал колесом на край старого окопа, заросшего мелким кустарником и травой и поэтому невидимого. Намокшая глина не выдержала тяжести машины, поползла, вот его и вышвырнуло на дозорку. Хорошо еще не примяло всеми тоннами.

Он заглянул под днище машины. Колесо ушло глубоко вниз, теперь трактор без крана не вытащить. И ставить тот надо за дамбой — въезд тягача на эту сторону теперь немыслим: он хоть и спустил воду в реку, но оползень может еще показать себя.

Из стенки обрушившегося окопа, как раз под колесом, торчал непонятный предмет; машинально, не отдавая себе отчета, Петренко опустился на колени и вытащил его.

Это была кобура старого образца, почерневшая, утратившая свою былую форму, но все еще похожая на револьверную кобуру. Без оружия — слишком легкая. Но и не пустая — что-то чувствовалось внутри.

Движимый скорее инстинктом, чем любопытством, он отстегнул крышку и вытащил изнутри ворох черных, истлевших тряпок. Они рассыпались у него в ладони, и на землю выскользнула ржавая гильза, забитая полусгнившей деревянной пробкой. Вот что здесь!

Петренко, со стоном нагнувшись, поднял гильзу, сунул ее в карман и, пошатываясь, побрел по направлению к заставе. Отчаянно болела нога, при каждом вдохе сотни мелких иголок вонзались в грудь; он кашлял и плевал кровью, но все же медленно и упорно шел туда, где его ждали...

15.

Эту ночь Виктор не спал. Лежа на спине, смотрел широко открытыми глазами в потолок; события сегодняшнего дня вновь и вновь проходили перед ним. Черное от грязи, перекошенное гримасой боли лицо Петренко... сбежавшиеся на его крик солдаты... защитного цвета

с большим красным крестом на боку «скорая помощь» совхозной больницы... белый халат и озабоченное лицо врача...

Зримо и ярко он видел Петренко, из последних сил привстающего на носилках, в его черной ладони ржавая винтовочная гильза... блое лицо Сазонтьева... общим расплывчатым фоном — сбившиеся в кучку, напуганные происшедшим гости...

Гости вскоре уехали, и впервые на памяти Виктора боевой расчет на заставе начался с опозданием. После ужина на заставе стояла непривычная тишина, а Сазонтьев (видно было со двора) сидел в своем кабинете у окна, обхватив голову руками, и что-то рассматривал, лежащее перед ним на столе. Вся заставка знала что...

Сон не шел. Странно, но сумятица в мыслях, царившая все эти дни, улеглась, ясно и отчетливо он вдруг увидел то, что хотел увидеть...

Встал, торопливо оделся и спустился вниз. Дежурный удивленно глянул на него от стола.

— Мне Сазонтьев разрешил, — легко соврал он и тут же забыл об этом, весь охваченный волнением

В Ленкомнате он зажег все лампы, вытащил из угловой каморки холст, поставил его на стулья Света было маловато, но сейчас это не заботило его: главное общий контур, выражение лиц, а цвет он поправит потом...

Он быстро набросал рисунок и, торопливо выдавив на палитру нужные краски, стал писать. Он не замечал хода времени; медленно, но все отчетливее и явственнее проступали на холсте два лица; черные, осунувшиеся, командир и его боец смотрели сквозь амбразуру в стене заставы на приближавшихся врагов. И было в их глазах столько решимости и веры, что, тронув в последний раз кистью холст, Виктор долго смотрел на них, не решаясь сделать под этим взором первый шаг...



ОТ ВОСЕМНАДЦАТИ И СТАРШЕ

1. ЕФРЕЙТОР СЕРГЕЙ ЛАНТОВ

От моста до шлагбаума пятнадцать шагов, поперек дороги столько же. По периметру — шестьдесят. Если ходить не спеша, как раз выходит минута. В час — три тысячи шестьсот шагов. За четыре часа... Офонареть можно!

Нет, летом на осмотровой площадке, конечно же, каторга. Машины к нам и от нас идут и идут сплошным потоком, а ты знай дергай за ремни, лезь в кузов и смотровую яму.. Июль, днем редко меньше тридцати, и эта акробатика в глухом комбинезоне моментом доводит до «точки кипения» И все же на площадке интереснее Разноязыкий говор, машины всевозможных марок — год скоро, как на КПП, а каждый день все разные, — люди, лица. Здесь В первые месяцы службы за четыре часа на пяточке у моста уставал больше, чем за день на площадке, — все всматривался, вслушивался: ждал, что вот сейчас послышится шорох, в кустах мелькнет тень... Мокрыми от волнения ладонями сжимал рукоятку и цевье автомата Чего всматриваться? Ночью здесь любой шорох за версту слышен, надо быть слепым, чтобы не разглядеть на залитом светом прожекторов участке человека. А если проморгаешь — сигнализация сработает Действует, как часы, — сам налаживал. Только полный идиот может решиться перейти границу у моста.

Все-таки эта смена с двенадцати до четырех самая нудная Общий отбой в одиннадцать, на полчаса спать не ляжешь Зато сейчас самый сон И машины в это время уже не идут. До двенадцати с ними набегаешься к телефону да шлагбауму, но все веселей.

Тишь да гладь Стой и жди, вдруг нарушитель какой полоумный объявится Тут ему сразу: «Стой! Кто идет? Стой! Стрелять буду!» Автоматная очередь в звездное небо, ошарашенное лицо задержанного, крепкое рукопожатие майора Лаврова, новенький знак «Отличник погранвойск» на мундире, отпускной билет домой... Хо-хо! Мечты, мечты.

Хм, если на то пошло, мы обязаны регулярно докладывать обстановку дежурному по заставе. Побеспокоим товарища Тяжко. Все же веселее будет, человеческий голос.

Два энергичных оборота ручки, трубка у уха.

— Дежурный по заставе старшина Тяжко!

Устав ходячий! Как генералу чеканит Знает же... Ну и мы.

— Докладывает пограничный наряд в составе ефрейтора Ланто-

ва! За время несения службы признаков нарушения государственной границы не обнаружено!

— Да? — Другой на месте старшины, наверное, сейчас послал бы меня подальше. Вон ведь как дышит — бежал к телефону. Но ходячие уставы эмоциям не подвластны — Хорошо, продолжайте нести службу, товарищ ефрейтор.

— Есть, товарищ старшина. Один вопрос: если не секрет, конечно, сколько еще осталось?

— Много. (Не голос — сама невозмутимость) Год, а может, и больше.

— Вас понял

Мои слова сталкиваются с отбойным зуммером в наушнике.

Редиска вы, товарищ старшина! Тяжело сказать? И надо же было мне на той неделе в часах в пруд залезть! Где их теперь отремонтируешь? «До ближайшей деревни двадцать пять километров», — как поют у нас Положим, не двадцать пять, четыре, но толку. . Мастерской там все равно нет.

Вообще-то Тяжко мужик неплохой. Справедливый. Зря шпынять не будет. А мог бы. Хотя бы за ту физподготовочку, год назад.

Нас, желторотиков, выстроили тогда в спортгородке, и Тяжко, об ту пору еще младший сержант, стал обучать молодежь приемам рукопашного боя. Я стоял правофланговым, и после краткой вступительной части, в которой товарищ младший сержант внятно изложил преимущества вооруженного этими приемами пограничника перед невооруженным, настал мой черед.

— Бей! — весело сказал он. — Сюда, — указал на подбородок

— Всерьез? — поинтересовался я.

— Ага! — подтвердил он и принял боевую стойку.

Вообще-то можно было и не хамить. Но уж больно не понравилось мне, как распинался товарищ младший сержант.

Он, видимо, ожидал, что по-настоящему бить я не буду. Поэтому так легко клюнул на замах правой, ложный. Зато левой я не промахнулся...

Когда он встал с земли, вид у него был, как и у всех на площадке, изумленный. А вы как думали, товарищ Тяжко?..

* * *

— Мягче, мягче руку держи! — сердился Артем и в который уже раз объяснял мне: — Рука должна наливать тяжестью за мгновение до удара. А до этого, как кисель. Понял? Раз! Раз! — терпеливо повторял он прием.

Мне было скучно до бесконечности репетировать одно и то же, и я канючил:

— Тём, покажи новый. Надоело

— Ты один выучи, как положено! — сердился старший брат. — Вот когда будешь работать его, как автомат, тогда и покажу.

И я, скрепя сердце, повторял знакомые упражнения.

Мы успели разучить три приема, хотя мой старший брат-десантик знал их великое множество. И ничего не боялся. В тот вечер, собираясь на дежурство в народной дружине, он привычно посмеивался над страхами матери. И ушел с улыбкой на губах...

Против подлости нет приемов. В парке на танцах сцепились в драке пацаны. Артем бросился разнимать. Его ударили в спину, ножом...

Несколько месяцев после похорон я бродил вечерами по улицам, заглядывая в самые глухие и темные переулки. Ждал: вот сейчас подойдет двое-трое, попросят закутить. Я откажу, и кто-то из них замахнется первым. И тогда — раз! Другой!

Я мысленно видел, как вылетают на асфальт белые зубы, течет кровь по разбитым лицам хулиганов, и все бил и бил, вкладывая в эти воображаемые удары свой гнев и свою боль; я мстил за мамины ежевечерние слезы и тайные, ночные, свои. Но никто ко мне так и не подошел...

Эх! Спать-то как хочется! Первое время, когда только пошел на мост один, без старшего, это было самое трудное — не уснуть. Не погода — что нам ветер, что нам зной, что нам дождик проливной, — а дремота. Особенно в эту смену. У моряков она называется собачьей вахтой. Справедливо. Раз как-то заснул на ходу и врезался в асфальт — хорошо, что инстинктивно сгруппировался перед падением. Месяц потом синяки не сходили.

— Раз-два-три-четыре! Раз-два-три-четыре!

Фуй, как коленки трещат! Несolidно, гордый победитель заставских старшин. На наше счастье, великодушных... Итак, когда в последний раз утром бегал? То-то...

Сейчас бы еще водички холодной в лицо плеснуть. Вот она, рядом, целая река. А только пост не оставишь. Володьке хорошо. Он сегодня в хознаряде, плеснет и хлебнет водицы. Хо-хо.

Интересный он парень все же, Володя Богомолов. Приметный. Мы на учебном в первый раз из бани вышли — все на одно лицо, как новенькие гривенники. А он и тогда уже выделялся. Худой, нескладный, ноги в сапогах, как будто их в ведра поставили, болтаются. И вообще. Всюду последний. В беге, стрельбе, строевой. Достопримечательность учебного. Наш командир взвода специально, когда их рота на плацу занималась, водил смотреть — вот так, мол, не надо.

Познакомились мы в солдатской лавке. Он в очереди впереди стоял, за сигаретами. Как раз «Приму» завезли. А ему не хватило —

одни дорогие остались Он стоит, растерялся, копейки по ладошке двигает — видно, что не хватает.

— Два «Космоса», — сказал я через его голову и протянул «тройку» продавщице.

Одну пачку положил на его медяки.

— Травись на здоровье!

Он смутился, отказывался, да уж видно курить очень хотелось

— Спасибо, — сказал, когда мы вместе вышли из магазина, — а то уж думал... Ты не бойся, я с получки отдам.

Так он это торопливо, по-детски сказал, что я засмеялся

— Можешь и не отдавать, не обеднею. Рубль туда, рубль сюда.

Он так странно посмотрел на меня и спрашивает:

— А ты знаешь, что такое рубль?

— Мелочь.

— Мелочь... Рубль — это восемь пачек мороженого, семнадцать кружек кваса, или два билета в кино и еще два стакана сока.

Удивила меня тогда эта хитрая арифметика. Потом лишь узнал, что Володька — детдомовский...

На той же неделе была огневая, стрельбище в десяти километрах от учебного, и отправлялись мы туда обычно бегом. В полной выкладке. Не всем поначалу это было под силу, и роты растягивались чуть ли не на километр

...Богомолва мы нагнали на косогоре у поселка. Отстал он от своих почти безнадежно. Когда мы поравнялись, я протянул руку.

— Давай автомат!

— Нет-нет! — замотал он головой. — Я сам

Ох, и разозлился же я тогда. Как жук на аркане, — не бежит, мотается поперек дороги, а еще характер у него!

— Давай! — рявкнул. — Сопля!

Он испуганно втянул голову в плечи, но автомат отдал. Через пару километров и противогаз. И все равно прибежали мы последними.

— Орлы, — сердито сказал начальник стрельб. — Вы там что, обедали по дороге? Учтите, плохо отстреляетесь — час индивидуальной тактической подготовки.

До тактической дело не дошло. Нас поставили в одну пару, и хотя стрелял он не лучше, чем бегал, патронов у меня хватило на мишени обоих

— Спасибо, — сказал он, когда мы шли с огневого рубежа. — Если бы не ты...

— Не можешь бегать — бросай курить! — почему-то вновь разозлился я. — И так в чем только душа держится, а еще смалишь!

Он не обиделся.

— Брошу, сам знаю, что гадость, — и предложил: — Давай вместе, а?..

Так вот и подружились.

2. СТАРШИНА АНДРЕЙ ТЯЖКО

Он мне так и сказал тогда:

— На меня не надейся, живи своим умом. Хватило его у тебя жениться, пусть хватит и семью прокормить.

Крепко осерчал старик. Век я от него подобного не слышал. Но и понять его можно: является к тебе в один прекрасный день девятнадцатилетний сынок, не успевший даже техникума закончить, и заявляет, что собирается жениться. Сейчас-то ясно: никто бы нам не мешал. Разве что попросили бы повременить до диплома. Но нам с Люсей эти четыре месяца казались вечностью, да и отца моего она побаивалась. Вот и расписались потихонечку.

И ничего. Оказывается, можно обойтись и без свадьбы, белого платья, обручальных колец. Группа скинулась по трешке, в тесной комнатухе общежития выпили шампанского, попели, поорали, потанцевали. И разошлись, оставив нас вдвоем.

Спустя три дня Люся нашла комнату, что сдавала немолодая бездетная чета. Переехали, благо всех пожитков — три чехомодана вместе с книгами. С деньгами тоже обошлось — она продала перстень, подаренный ей сиротобольной теткой, этого и двух стипендий как раз хватило до первой полочки.

Мама пришла к нам спустя две недели. Посмотрела на наше спартанское житье-бытье, повздыхала, всплакнула немножко. Но я понял, что Люся ей понравилась. В подъезде, когда я пошел ее провожать, она старалась сунуть мне деньги. Я не взял — гордость выиграла.

— Что ж ты так, Андрюша, обижаешь, — заплакала она. — Чужая я вам, что ли?

Дурак я, дурак. Сейчас понимаю. А денег тогда все равно не взял.

Месяцы эти не прошли, пролетели. День-деньской на стройке: то рабочие идут к молодому прорабу ругаться, то прораб с этим же к начальству. Набегаешься, а придешь домой — чистота, уют, ужин на столе, жена сидит — мужа ждет. Ес в бухгалтерию определили, там рабочий день нормированный, вот и успевала. А в выходные, если объект «не горит», в кино или парк. Взявшись за руки. Сейчас бы постеснялся, а тогда... Дети.

Повестка была, как гром с ясного неба. Конечно, знал, что скоро: кое-кто из одногруппов уже пришел. Но почему-то казалось, что меня все-таки не призовут. Люся всю ночь проплакала.

Вот тут-то мой старик и не выдержал. Проводы отгрохал — что там свадьба!

— Не бойся, сын! — захмелев, кричал за столом. — Пятерых поднял, а уж невестку с внуком досмотрю. Служи там честно, как Родина велит.

Кто ему про Славика сказал — до сих пор не знаю Люся всего-то на четвертом месяце была, незаметно совсем. Что Славиком назовем, еще тогда договорились. Вячеслав Андреевич — звучит!

Когда мы садились в автобус, отец не выдержал.

— Ты там поосторожнее, сынок, — бормотал, тычась неловко мокрым лицом мне в щеку. — Граница все-таки. В газетах пишут: и сейчас, бывает, стреляют. Помни: ты — семейный...

Автобус тронулся, и я еще долго видел в окно, как мама с Люсей стояли обнявшись, а отец — чуть в стороне, поникший, растерянный...

Как они там сейчас? Люся пишет — у Славика уже шесть зубиков. Два сверху и четыре снизу. На фотокарточке не видно, рот плотно сжат. Серьезный парнишка. Большой. Ходит сам. Говорит «мама», «деда» и «баба». «Папа» не хочет. Когда только родился и меня пустили в отпуск, был совсем крошечный, розовый, глазки закрыты, как у котенка... Ничего, скоро я его «папа» говорить научу.

Хорошая сегодня выдалась ночь. Спокойная. До сих пор ни одной сработки. Тьфу, тьфу. Отоспится тревожная.

Тихо. Щелкает сигнал системы, лампочка красная мигает да во дворе порой скрипнет песок под сапогом часового. Полтора года на заставе, а все не привыкну. Ночь, все спят, один лишь ты... Странное, волнующее чувство. Ты хранитель этого покоя, защитник. И эти стриженные ребята, что спят сейчас мертвым сном на своих жестких панцирных сетках, они потому так крепко спят, что тебе верят. Часовому, что ходит сейчас под окном, и даже этому шалопуту Лантову, там, на мосту...

Шалопут-то он шалопут, но себе на уме. Толковый парень, много знает, много умеет, но сверх положенного спички не переломит. Был у меня один такой на стройке, маляр. Я ему: «Зачем пол грязный красишь?» А он ухмыляется: «Не положено нам его мыть. В обязанности не входит. Не платят мне за это». А то, что потом по этому полу босой ногой не ступишь — плевать. Не себе делает.

На Лантова, впрочем, как найдет. На той неделе рабочим кухни был, выдраил все — блестит. Даже краску с кафельных плиток, бог весть когда и кем заляпанных, счистил.

— Молодец! — хвалю.

— Знаю, — смеется, — а теперь, товарищ старшина, ваших на экскурсию приведите. А то ворчат, что КПП работать не хочет и не умеет. Все, мол, они. Ерунда они!

Вот ведь язва! Уколот. Интересно, если бы он у нас на заставе

был, а не на КПП, тогда как? Жедь бы уж точно не обрадовался. Удивительно, как все ему легко дается? На КПП, рассказывают, как бог работает — контрабандисты стонут, на физподготовке, политзанятиях, строевой — не придиришься, даже если бы захотел. А стреляет... Когда на прошлой проверке нам назначили специальное пограничное упражнение, многие желали с ним в пару. Здесь ведь, если мажешь, напарник вытянет. Он и вытягивал...

Ну ладно, стрельба. Тут все просто: попал или не попал — видно сразу. А то вдруг Лантов на занятиях совместных стал быстрее всех в противогазе бегать. Опередит остальных метров на пятьдесят, снимет маску и совсем свеженький, будто нет позади километров по жаре. Остальные воздух, как рыбы на песке, хватают, пот градом катится, а ему хоть бы хны. Прямо загадка. Только Жедь ее разгадал... Трубку противогазную он не на коробку навинчивал, а привязывал к ней. В сумке не видно, дыши на здоровье!

— Вы что, ефрейтор, умнее всех?! — вскипел тогда капитан. — Не стыдно перед товарищами?

Потупился он, покраснел. А потом чуть слышно, себе под нос:

— Рядом бежать и покрикивать, когда другие в противогазах, тоже не трудно. Ветерок обдувает...

— Хотите сказать, что командиру легче? — сощурил глаза Жедь. — Сачкует, значит, капитан? Сам бежит без противогаза, а потом мораль читает? И еще неизвестно, как бы он сам в маске по такой жарке? Так, что ли?

— Вот именно! — звонко сказал Лантов и взглянул на командира таким нахальным взглядом, что у меня аж кулаки зачесались.

А Жедь только улыбнулся.

— Ну что ж, справедливость так справедливость, — он поправил противогазную сумку на боку. — Эту дистанцию мы оба дышали свободно, а теперь наверните трубку на коробку. Приготовились? Внимание, газы!

...По какому они маршруту бежали — не знаю, но времени с той минуты, как две фигуры скрылись за бугром, прошло немало. Жедь прибежал первым. Снял маску, отдышался и повел нас в поле — продолжать занятия. И только к концу их появился Лантов. Петляя, подбежал к полю, сорвал противогаз с лица и, взъерошенный, мокрый и красный, долго смотрел на нас бессмысленным от усталости взором.

Притих он после этого. Только наши ребята все равно к Лантову липнут. Вечером после ужина сядет на лавочку, так и облепят. А он соловьем заливается. Чего только не наплетет. В какие города ездил и какие красивые девушки его любили. Врет. Кроме матери ему никто не пишет. Сколько раз почту разбирал — хоть бы один

конверт с девичьим почерком. Или с незнакомым адресом. Однажды не выдержал, сказал ему, что думаю, с глазу на глаз.

— Ну и что? — засмеялся. — Пусть так. Что, если хлопцы послушают? Вы-то им не расскажете. Нельзя человеку все про уставы и политику международную. Им и про любовь послушать хочется. Ведь так?

Может, и так. Действительно надо, раз слушают. Не похабщина все-таки. А Богомоллов... Прямо девушка влюбленная. Глаз не сводит. Вот уж парочка! Один шалопут, а другой растяпа. Только баню топить да за коровой ухаживать. А еще детдомовский! Они обычно ребята шустрые, ловкие. На стройке у меня целая бригада их была, земля под ногами у ребят летела...

Полчетвертого. Пора подымать наряды. В столовой все стоит, чай горячий, вот молоко только кончилось. Сачкует коровка. Хотя травы, слава богу, хватает. Богомоллов говорит: так и должно быть — второй год как яловая. Интересно, сапоги яловые из таких коров делают? Надо спросить. Впрочем, такую только на сапоги. Жедь за молоком для пацаненка в деревню ездит. «Нельзя, — говорит, — это для солдат». Маленькому, значит, нельзя, а этим бугаям нужно? Кто бы за тот литр слово сказал?

Ну вот и все. Через час и светать начнет. Время летит... Давно ли, кажется, школу сержантскую закончил, а вот он, конец службы, на носу. И грустно, и радостно. А может, и вправду остаться? Квартира есть, Люсе работу найдем. Славику и дружок будет — Лешка Жедя. Надо Люсе завтра написать, нет, уже сегодня...

3. РЯДОВОЙ ВЛАДИМИР БОГОМОЛОВ

На второй вечер ко мне прицепился милиционер.

— Куда едешь? — тронул за плечо. — Билет есть?

Надо было соврать что-нибудь, а я растерялся.

— Никуда, — отвечаю.

— Тогда пошли.

Привел он меня к дежурному.

— Вот, — показывает, — субъект. Второй вечер в зале отирается. Я его давно приметил.

— Документы есть? — спрашивает дежурный.

— Есть.

Полистал он мой паспорт, пропуск заводской в пальцах покрутил.

— И что же вы, товарищ Богомоллов, вторую ночь на вокзале де-лаете?

— Ночую.

— Почему?

— Негде больше Приезжий я

— В гостиницу бы пошел, -- вмешался тот, что привел. — Здесь не положено.

— Действительно, — подтвердил дежурный, — пробовал?

Я только плечами пожал. Не пробовал, конечно. Боязно. Ни разу я в гостиницах не бывал. Да и дорого там, ребята говорили. А денег у меня... Поесть да на обратный билет.

— Понятно, — хмыкнул дежурный. — Ты, Лактионов, давай в зал. А мы тут с гражданином побеседуем.

Лактионов помялся немного, но ушел. Не хотелось ему. Видно, решил, что урку поймал. Вид у меня. Две ночи на лавке — помялось все.

— Ну-ка, Володя, давай по порядку, — дежурный подсел поближе. — Что тебя в Ленинград занесло?

Слушал он хорошо. Не перебивал, не морщился. Только иногда головой крутил и улыбался в усы.

— Ладно, — сказал, когда я замолчал, — все ясно. Эту ночь здесь пока поспишь. Не перина, но лучше, чем скамейка. А утром что-нибудь придумаем.

Отвел он меня в комнатку с топчаном в углу.

— Располагайся. Вещи-то где?

— Здесь, — показал я на портфель.

— Ну и ну, — засмеялся он. — У тебя там, кроме зубной щетки, что есть?

— Мыло... И полотенце.

— Полный джентльменский набор. Бритвы вот только не хватает. Но тебе, вижу, и не нужна.

Заснул я сразу, как провалился. Сны еще видел, когда потрясли за плечо.

— Вставай, — сказал дежурный, и я заметил, что лицо его осунулось и словно пылью покрылось. — Крепок ты на сон парень. Девять уже.

В знакомой мне комнате в этот раз было многолюдно, толпились какие-то женщины, две из них плакали, а в углу на стуле сидел, набычившись, звероватого вида мужик. Рядом, не спуская с него глаз, стояли два милиционера с расстегнутыми кобурами. Я присмотрелся и заметил на запястьях сидевшего стальные браслеты — наручники.

— Кто это?

— Да так, задержали, — нехотя отозвался спутник и вдруг резко глянул на меня. — Случайно не знаешь?

— Нет.

— И то... откуда? Тут, брат Володя, выдалась ночь. Зато сейчас я вольный казак — сменился. Отосплюсь. И тебя устроим.

От вокзала мы пошли пешком. Сначала по улице, потом капитан (я только сейчас разглядел его погоны) свернул в подворотню, приведшую нас в старый маленький дворик. По широкой лестнице со стертými ступенями мы поднялись на второй этаж, и капитан позвонил три раза в дверь со множеством табличек у кнопки.

— Иду, иду, — слышался за дверью дребезжащий голос, щелкнул замок, и выглянула седая голова в очках.

— Коленка! — дверь распахнулась, и я увидел старушку, маленькую и сухонькую. — Боже мой! Целую жизнь тебя не видела!

— Здравствуйте, Марья Ивановна, — смущенно кашлянул капитан и вытолкнул меня вперед. — Я не один.

— Заходите, заходите, — старушка семснла впереди нас по длинному коридору, и мы оказались в большой комнате. Стены сплошь в картинах и фотографиях в рамках. На полочках, этажерке стояли фарфоровые статуэтки, посуда.. Я даже онемел. Будто и не уходил вчера из Эрмитажа.

— Вот, — сказал капитан, смущенно улыбаясь, — тут такая история, Марья Ивановна...

— Да чего уж там, понимаю, — засмеялась хозяйка, подвигая нам стулья с высокими спинками. — Не в первый раз. Да садитесь вы, чаю поьем.

...Когда капитан ушел, мы с Марьей Ивановной еще долго сидели за столом. Чаевничали. Беседовали по душам. Редко мне выпадали такие минуты.

— Хороший он человек — Коленка, — вздыхала старушка, накладывая мне варенья в крошечное фарфоровое блюдечко, — добрый. Я его еще во-от таким помню. Никогда слова плохого не сказал. Служба у него — два раза уже в госпитале лежал... — она промокнула платочком глаза. — Один раз бандиты ножом, другой... О-хо-хо. И не уходит, сколько ни говорила. Кто же здесь будет, если не я? И правда.

Марья Ивановна пригорюнилась, подперев щеку кулаком, я даже чай пить перестал.

— Так вы и вправду, молодой человек, сюда за тем и приехали? — спросила она минуту спустя

Я кивнул.

— И на вокзале ночевали?

— Ага.

— О-ей-ей, — покачала она головой. — А знаете, я вам даже завидую. Впервые увидеть, прочувствовать такое... Эр-ми-таж. Слово-то какое, слышите? Музыка. И вы один, наедине, да?

— Да. Там экскурсии ходили, я пристраивался, но очень уж быстро. Не рассмотришь.

— Молодец! — глаза у старушки блеснули — Так и надо!

Прожил я у нее неделю Утром, после традиционного чаешития, уходил и день напролет бродил по просторным великолепным залам с зеркальными полами, высокими окнами, вечером усталый и одуревший возвращался в уютную комнатку в большой коммунальной квартире. С Марьей Ивановной за чаем просиживали до глубокой ночи. Она слушала меня, не перебивая, лишь вздыхала порой:

— Счастливый вы, Володенька. У вас вся жизнь впереди.

В последний день она вдруг сказала:

— Сегодня, Володя, вы поедете со мной. Нельзя вам там не побывать...

Еще в окно троллейбуса я увидел у ажурной металлической ограды десятки автобусов, машин, круговорот людей у широкого прохода между двумя квадратными башенками и понял... Мы шли по широкой аллее к бронзовой женщине с венком в руках на высоком гранитном постаменте, а вокруг на широких, забранных в гранит братских могилах цвели розы, тысячи роз.

— Где-то здесь и Варенька моя лежит, — вдруг всхлинула Марья Ивановна, неожиданно до боли сжав мой локоть. — Я на дежурство ушла, а она решила сама за хлебом... Так и не знаю где. Сил не было искать. Доченька...

Она остановилась, промокнула платочком под очками, потом сняла их совсем и долго вытирала покрасневшие глаза.

— Так вот, Володенька. Горе здесь наше. У Коленьки дедушка... Искусствовед наш известный, профессор Самойлов. Рядом жили. Если бы Оленьку, маму его, не эвакуировали...

Мы еще долго ходили по аллеям, мощенным плитами, мимо широких братских надгробий и маленьких одиночных. И редко-редко где на сером граните встречались имена.

— Семьсот тысяч, — шептала Марья Ивановна, снова сжимая мой локоть. — Запомните это, Володя, ребятам своим в общежитии расскажите. Семьсот тысяч людей... И каждый хотел жить, радоваться, в музее ходить. Не могу...

На вокзале, когда пришло время прощаться, она снова заплакала.

— Не забывайте меня, Володя, пишите. Совсем одна я осталась со своими картинами. Давно бы в музей отдала, да уж очень привыкла. Потом уж, после... Приезжайте в следующий отпуск, хорошо?

Следующий отпуск у меня по графику был в мае, а в апреле я получил повестку...

* * *

Вывездило как! Слово бы кто в небо горсть желтых блесток бросил. До чего же здесь, на юге, звезды крупные. И без телескопа...

Гончие Псы, Дракон, Цефей, Кассиопея, Персей... Сергей удивляется: как это ты их различаешь? Чего тут различать? Вон Лебедь, Лира, Геркулес, Северная Корона, Волопас...

У нас в детдоме на чердаке телескоп стоял, и ясными вечерами мы лазили туда. Ольга Александровна строила нас в очередь и терпеливо объясняла про каждое созвездие и звезду. Сюда бы сейчас этот телескоп! Не на посту, конечно, но вечерами...

Как же много на свете хороших людей! Ольга Александровна, этот капитан с вокзала... Я тогда не спросил его фамилию, Марья Ивановна в письме сообщила. Смешная она у него. Буланчиков.

А Сергей? Это он с виду такой фасонистый и дерзкий. Не всем нравится. А он и не хочет всем.

Вот и кончилась моя смена. Пока Сергей придет с моста, уснею и перекусить приготовить...

4. КАПИТАН АЛЕКСЕЙ ЖЕДЬ

Сколько раз я уже это говорил! «Приказываю выступить на охрану границы Союза Советских Социалистических республик.» Ко всему привыкаешь, но здесь.. Вон как посуровели лица у этих, двадцать минут назад разбуженных ребят. И им ведь не в новинку, тоже привыкли. Слова приказа знают — от зубов отскакивает. Суть бы только не отскочила.

— Выполняйте приказ

— Есть!

Хлопает дверь, во дворе у щита пулеулавливателя металлический лязг заряжаемого оружия. Все. Можно идти спать.

А спать почему-то не хочется. Подишь ты! Пять минут назад чуть ли не силком вытаскивал себя из постели. Можно было и не вытаскивать, дежурный бы позвонил, но это уже признак старости — ждать, когда позвонят.

Что ж, здесь мне делать больше нечего. Только глаза сменившим-ся мозолить. Обойдется и без начальника.

Света в кабинете лучше не зажигать. Заметят, на цыпочках станут ходить. Не надо попусту.. Интересно, почему это в душе солдата живет трепет перед кабинетом начальника, или, как его здесь называют, канцелярией? Сам, помню, когда-то с замиранием сердца стучался. В мою не постучишься — обита, в косяк скребутся. Как мыши. Странно. Распекать здесь никого не распекаю, разве что старшину иногда. Ну так он как раз и не боится. Сам знает, когда виноват, благо редко бывает. Согласился бы он!

Вот, сапоги затопали, смех. Лантова голосок. Выйти, что ли? Всех перебудит... Тяжко вмешался Молодец!

Вот не успеешь оглянуться, как и эти уйдут. Только знай, что встречай да провожай. Работа. Едва успеешь научить, понять каждого... Все правильно, товарищ капитан, не всем же границу полжизни охранять. Кто будет на заводах работать, дома строить, хлеб растить? И вас кормить. Вы ведь ничего не производите, потребляете лишь.

Стихло. Есть пошли. Аппетит у них сейчас!.. Помню. Только нам тогда спецпак не полагался, сами выкручивались. Положит старшина кусок старого сала на стол, пару буханок хлеба, поставит чайник. Чай несладкий — сахар строго по норме. Жевали, да еще как. Шкурка, как подошва, а к утру и той не останется. Хлеб до крошки подберут.

Завидую им, что ли? Ну да, нужды они не знают, служить легче — посылки с почты на машине возим. А в тех посылках... Не хватает, что ли? А переводы... Куда им здесь деньги девать? Отпросятся у старшины, сбегают на автовокзал пограничный — весь буфет очистят, иностранцам ничего не остается. Потом по заставе не пройти — бумажки от конфет. Как дети, честное слово

Стареть, что ли, стал — разбрызжался? Чего? Сам таким не был? Не можешь забыть, что застава, граница — это для них временно, эпизод в биографии? Это у тебя на всю жизнь. Или хотя бы до пенсии. До нее, к счастью, далеко

Пойду. Хватит тут бдить. Спокойно, старшина, я вот только в столовую загляну. Эта парочка еще сидит. Беседуют. О чем, интересно? У Богомолова лицо прямо светится. Неплохой он парень, но дружка нашел. Как с ним Лавров справляется? Не раз, наверное, в затылке поскреб. Этот задаст вопросик.

О чем же они, интересно? «Мама»? Вот не сказал бы... Фу, нехорошо подслушивать, товарищ капитан. Назад. Черт, половина...

— Товарищ капитан? .

— Сидите. Спать собираетесь?

— Так точно.

— Вот и давайте.

А этот даже не подумал вставать. Знает свои права. Ну...

И чего я 'на них напустился? Пусть бы сидели — завтра дежурный все равно вовремя подымет. Признайся, Лантов? Неравнодушен ты к нему.

Хорошая сегодня ночь. Звездная, тихая. Ни одной сработки — странно даже. Ну, система в порядке — сам проверял, КСП неделю как заново вспахали и заборонили. Наряды на участке, не новички. Чего волноваться?..

Звездочка покатилась. И желание загадать не успел. Зачем? Все у нас есть: служба любимая, не менее любимая жена, сын Лешка, Алексей Алексеевич. Как это мама сказала? «Влюбился в свое имя,

других мало?» Ну не я это! Мы с Наташей так договорились: сына она, девочку я. Родился сын. А нет, была бы Наташа. Да, брат, насчет фантазии у вас...

Дверь не скрипнула — сам смазывал, а на кухне свет нам не нужен, — фонари во дворе. Чай в термосе горячий. И несладкий. Как мы и любим.

Лешка спит — пушкой не разбудишь. Набегался за день. Надо будет Тяжко сказать, чтоб к корове его... Скотина она скотина и есть — неровен час...

Хорошее у Наташи сейчас лицо. Как это она сама говорила? «Жалкенькое?» Нет, просто хорошее, человеческое.

Когда впервые увидел — жуть взяла. Краски — на сантиметр, ногти — на два, какие-то лохматые одежды (как выяснилось потом, последний крик) плюс сигарета в зубах. Типичный экземпляр из Эдикиной гостиной. Эдакая баба-яга в юные годы. Насчет бабы-яги я, впрочем, чересчур. Даже такой она была невероятно красива.

— Давай, старший лейтенант, не зевай! — подтолкнул меня Эдик. — Девочка что надо. Специально для тебя пригласил. Не то весь отпуск просидишь сиднем в квартире. Знаю.

Назвался груздем... Раз пришел, не торчать же пнем. Знал же, что у Эдика?.. Ох, уж эта мне школьная солидарность.

Я пригласил ее танцевать. Она воткнула сигарету в пепельницу, встала. Хорошо, музыка была медленная. Не люблю я этих дерганых мелодий...

— Вы действительно на границе служите? — спросила она, когда мы сели. — Звание у вас какое?

— Старший лейтенант.

— Маловато, — она оттопырила верхнюю губку. — По годам уже капитаном должны.

— Буду, — сказал я весело. — Обязательно.

И где они только этому учатся — звезды считать. Ты их заслужи попробуй.

— Ну как там у вас? — спросила она, прикуривая новую сигарету.

— Что как?

— Ну, нарушители эти. Часто ходят? Стреляют?

— Нет, спокойно.

— Да? — удивилась она. — А Эдик говорил, что придет герой-пограничник, гроза нарушителей.

— Эдику вашему язык мало обрезать!

— Ну? — она засмеялась. — Вы думаете, поможет?

Возразить было нечего.

— Что вы молчите? — вновь принялась она за меня. — Рассказывайте.

— Что?

— Что-нибудь. Не молчать же целый вечер. Все рассказывают.

«Ну и катись к этим!» — хотел сказать я, но сдержался.

— Давайте лучше музыку слушать.

— И то, — согласилась она, — за неимением прочего...

Конечно, мне пришлось ее провожать. В такси она не захотела, топали. Благо недалеко, на Большую Грузинскую. Не в Теплый Стан.

Дорогой я отмалчивался. Да и она особо за язык не тянула. Надоело видно. У подъезда я вежливо попрощался. Может, торопливее, чем следовало. Она почему-то удивилась.

— Станный вы человек, Леша. Интересный. Знаете что, позвоните мне. Вот, — она черкнула ручкой по листику крошечного блокнотика, вырвала его и протянула мне. — Сами, знаю, не попросите.

Я подождал, пока она скроется в дверях подъезда, скомкал листок и швырнул его в урну.

Она позвонила сама. Спустя три дня.

— Алексей, я понимаю, что вам не хочется меня видеть, — торопливо говорила она в трубку, словно опасаясь, что не успеет, — но я вас прошу: приходите. Очень нужно.

«Пропадешь ты когда-нибудь из-за своего характера», — говорила мне мама. Может, и так. Но ведь просит человек!

Квартира ее меня удивила. Маленькая комнатка, спартанская обстановка, книги на полках — половина на английском, разве что овечья шкура на диванчике была данью моде. И сама крашена в меру. Многовато, конечно, но в сравнении с прошлым...

— Знаете, почему я вас позвала? — спросила она, едва я с превеликой осторожностью опустил на шкуру.

— Нет.

— Вам, наверное, смешно, Леша, но вы первый, кто, проводив меня, не попросился зайти, «на чай». Не понравилась я вам?

— Если откровенно...

— Знаю. Дело даже не в этом. Всем не понравиться. Вы... Как бы вам сказать?.. Другой. Не такой, как Эдик и остальные. Хоть вы и друзья.

— Приятели. В школе вместе учились.

— Знаю. Это все равно. В общем... Я, как вы знаете, переводчицей в «Интуристе» Иностранцы, шмотки... Тоже люди, хотя, конечно, другие. Работа. Только знаете, такие, как Эдик... Ну подражают, что ли, равняются. В одежде, поведении, отношении к людям. Чем больше походишь, тем, значит, ценнее в своих и чужих глазах. Знаете, сколько людей просит меня достать то или иное, заграничное? За тряпку ноги готовы целовать. А вот на вас наш ширпотребовский костюмчик и вам это...

— Не только мне.

— Знаю. Есть такие, у которых отказ от всего чужого — поза. Выдуманная или вынужденная. От нехватки денег, к примеру. Вам же это действительно просто не нужно. Ничего. У вас другая жизнь, другие ценности. Мне это непонятно.

— Для того, чтобы понять, нужно пожить, как я

— Вы думаете я смогу?

— Не знаю. Представьте: далекая застава, до деревни ближайшей километров пять. Наряды и макияж показывать некому. Солдатам разве. Им, знаете... Горячей воды нет, баня раз в неделю. Воду привозят. Развлечение — телевизор, кино раз в неделю.

— Но вы же можете!

— Я другое дело. Я солдат.

Она замолчала. Надолго. Я заерзал по бараньей шерсти.

— Не уходите, Леша, — она подняла голову, и я увидел в голубых, никакой краской не испорченных глазах слезы...

Через неделю я спросил ее:

— Ты еще хочешь посмотреть мою жизнь?

— Да, — удивилась она. — А что?

— Есть возможность. Отпуск у меня еще три недели, уволиться успеешь. А распишут нас сразу. Я ведь военный...

Конечно, меня отговаривали. Особенно Эдик.

— Сдурел ты, старик, что ли? Раскрой глаза! Разве на таких жене-ся?

А вот маме она понравилась. Удивительно, как меняется человек, когда с него слетает шелуха. Если бы я сразу увидел ее такой... Весь вечер они проговорили на кухне, а я сидел, как идиот, и до опупения смотрел телевизор. Вернее, пытался смотреть. Какой уж тут футбол?!

Когда они вышли, вид у моей родительницы был торжественный.

— Я всегда говорила этому балбесу, что он везучий, — сказала, глядя на Наташу. — Видно не зря до двадцати восьми в холостяках проходил Выбирал. Доволен поди, пограничник?

— Ага!

— Вот тебе и ага! — засмеялась мать. — Жаль, свадьбу не успеем...

Посмотрели бы те, кто отговаривал, на Наташу сейчас. Признать-ся, сам не очень верил, что приживется. Зря И работа по специальности ей нашлась — в отделении «Интуриста». Лешка, Лешка... Порядок в пограничных войсках.

До следующего наряда еще три часа. Можно и выспаться. Хорошо бы, конечно, без перерывов, но один остался, терпи. Как это: солнце светит и палит — едет в отпуск замполит. Наступил ноябрь холодный... Переживем. В ноябре в Москве еще лучше...

5. ЕФРЕЙТОР СЕРГЕЙ ЛАНТОВ

Удивительно: на гражданке и здесь в первые месяцы встать во время было — ого! А тут, как штык. Еще, наверное, и поваляться можно. Хотя... Поваляешься тут в духоте. Ладно простыню загодя под краном смочил.

Опять этот сон! Вот ведь! Другим, как люлям, девушки там или мамы А мне.. Куда это он ножом? Во, конечно Кто же, интересно, пуговицу в койку подбросил? Шуточки... Отпечаталась, как на снимке, каждая дырочка видна.

Сапоги в коридоре застучали. По мою душу.

— Здравия желаю, товарищ ефрейтор!

— Привет. Вставать пора. Знаешь, что...

Лицо у Фокушкина розовое, смеющееся, будто ему отпуск только что объявили.

— Второй этаж.

— Именно, чтоб все блестело. Жедь проверять будет.

— Это уж он не преминет. В каждую щелку залезет.

— Во, сам знаешь. Так что давай.

Хлопнула дверь, стукнула вторая Пошел Володьку поднимать Счастливый он человек, Фокушкин. Кладезь оптимизма. Сам таким был В школе учителя тити-мити, детки, вас ждет прекрасное и светлое будущее, райская жизнь. Раскрывай рот и жди, когда туда вкусненькое положат И ни слова, что райскую жизнь надо самому, в поту Набрасаешь в тележку заготовок — пошел Колеса по стыкам плит, которыми пол в цеху выстлан, гремят, заготовки позвякивают, а женщины от станков: «Давай! Давай!» Официально моя должность называлась красиво — распределитель работ, а на самом деле — простой подвозчик.

После первого дня думал, не встану Но зубы сцепил и пошел.. Две недели я так выгibalся Пока однажды в цех не заглянул седой пожилой человек — председатель завкома. Увидел и аж побелел.

О чем он с мастером в конторке беседовал — не знаю; но вылетел оттуда наш Жибрик пунцовый, как шиповник И уже после обеда появился в цехе еще один распред Оказалось, второго мастер тогда внеурочно в отпуск послал — соблаговолил. И что меня особо поразило: ни одна из тридцати станочниц об этом мне даже не обмолвилась. Молчали. Наряды им ведь Жибрик выписывал...

Странно, но есть в уборке какое-то удовольствие. Грязь, беспорядок, а прошелся мокрой тряпочкой... Обидно только, если кто по мокрому сапогами Но здесь некому Кто на службе, кто спит. А мы крашники в умывальнике полируем. Зеркало! Придиришься, попробуй

Сколько нам на подъем и уборку отводится? Полтора часа А мы за полчаса! Сам умоешься, побреешься, подворотничок свежий подшошьешь... Еще сорок минут кейфа. Как белый человек.

Что ему нужно, Фоушкину?

— Лантов, кончил?

— Ну?

— С КПП звонили. Машин на площадке много. Велели, как только, то бегом.

— Скажи, что я еще нет.

— Уже сказал, что все. Так что давай.

Ух ты, оптимистик социальный! Чтоб тебе.

От заставы до КПП, он же пограничный автовокзал, четыреста тридцать шагов. Точно. Со службы идешь — птицей летишь. На службу...

Ой-ей-ей! Мама родная! Машин на мосту! И у выездного шлагбаума... Ну сейчас...

Гриша Кривицкий ждал меня у входа в здание. Рубашка промокла до погон, из-под фуражки струйки... Извини, Гриша, знал бы, сам прибежал.

— Давай, — он сунул мне черную рабочую куртку, фонарь. — Работаем на въезд.

— Понял.

И поехало... Визг тормозов над смотровой ямой, круглое потное лицо под черной шапкой курчавых волос в окне грузовика. «СЗ» на номере Болгария, Стара Загора...

— Добре дошли, другарь!

— Здравствуй, братушка.

Ремень, шнур, ремень, шнур; пломба в порядке, теперь вниз — хорошо, вверх — брезент цел. Гриша из кабины вылезает...

Следующий... «СЗ». Колонной прибыли.

— Какво карите, другарь?

— Томати.

Снова эти «томати»! Кому их столько?

А вот и рефрижератор румынский. У этих «маннов» мотор ревет... Оглохнешь.

— Буна зиуа! Че авец, домнявоастра?

— Стругурь.

Ишь ты, виноград. «Кардинал», наверное. А вот мы сейчас и посмотрим. Пломбочка-то у вас.. Открывай, не маши руками!

Да, «кардинал»... Ягоды, как сливы, фиолетовые, с сизым налетом. Сейчас бы гроздочку! Только вот и смотришь. А в холодильнике рай, век бы не вылазил.

— Сергей, что там? Нашел?

— Нет.

— Тогда быстрей. Время.

Знаю, что время. Вон они, «томати», ползут. Двадцать тонн в одном фургоне. Эх! Ремень, шнур, ремень, шнур, брезент в порядке.

— Добре дошли, другарь...

Ну вот и посветлело. Бегом, каждая минута дорога. Через зал, сквозь толпу ошалевших от жары туристов, к себе в заветную комнату. Фонарь в угол, куртку с плеч — раз! Пэша — два! И под кран. Ух! Блаженство. Век бы не вылазил.

— Сергей...

— Гриша, минутку! Погодят...

— Да нет, я просто.

Он быстро скинул рубашку, залез под кран и, не вытираясь, присел на банкетку. Глаза с длинными ресницами закрыты, лицо бесстрастно. Устал. Лучший контролер КПП. На учебном, помню, совсем тихий был. Потом его направили в школу контролеров, меня — сюда. Ползать по машинам и без школы наловчиться.

— Сергей.

— Ну?

— Александра Григорьевича помнишь?

— Дальнерейсовика? Из «Совтрансавто»?

— Да. Только что проехал.

— И? (Что, интересно? Гриша зря не вспомнит).

— Сказал, что там, неподалеку от их КПП, голубой «шевроле» стоит на обочине. Сиденья рядом валяются — прячет что-то.

— Та-ак...

— Я доложил майору. Велел вместе.

— А на площадке?

— Там сейчас и без нас обойдется.

— Собираться?

— погоди. Раньше, чем через пятнадцать-двадцать минут не objevится. Отдохни.

Он встал, набросил на мокрые плечи рубашку, пробежался пальцами по пуговицам.

— Куда ты?

— Пойду таможенно предупрежу. Дело, возможно, большое.

Стукнула дверь. Гриша, Гриша, безжалостный ты к себе человек. Никуда бы не убежала твоя таможня.

Эх, люблю я такую работу! Держитесь, господа контрабандисты! Где мои отверточки? Так, за голенища их. А уходить не хочется. Самое прохладное место на КПП — наша комнатенка. Окна нет, вместо него прямоугольник из стеклоблоков. По замыслу архитектора здесь должны временно содержаться задержанные нарушители. Но их пока не густо. На моей памяти один...

Когда я выволок этого перепуганного мальчишку из кузова зеле-

ного «берлине», то чуть не плюнул с досады. Нарушитель... Десятиклассник сбежал из дому, на дороге залез в пустой фургон заночевавшего иностранца — за границу решил посмотреть. При себе саквояж, а в нем два яблока и журнал «Юность». Дело было вечером, кто-то сбежал на заставу за ужином, и надо было видеть, как он ел! Сопляк Ради таких столько людей держать, награды давать. На награду, впрочем, не очень расщедрились. Вот он, серенький значок «Отличник Советской Армии». Отпуск бы! Мечты, мечты...

Пока Кривицкий проверял паспорт долговязого рыжего американца, я истомился. Наконец-то!.. Мгновение — и я окунулся в прохладное чрево кондиционированного лимузина Сиденья, говорите? Так, пакеты с женскими колготками, еще какая-то амуниция для слабого пола.

— Ну? — в голосе Кривицкого нетерпение.

— Есть. Отгоним на запасную. Здесь работы...

Таможенник сказал несколько слов по-английски, и долговязый послушно сел за руль. Я примостился рядом — на всякий случай. Запасная площадка в пятидесяти метрах — вышвырнет что по пути, показывай потом.

Вот мы и вдали от посторонних глаз. Сейчас подойдут Гриша и таможенник. А мы пока.. Стук в дверцу глухой — есть закладочка. Обшивка потолка. Фью, здесь что-то твердое.

Движение долговязого было столь молниеносным, что я не успел среагировать. Показалось, что наручник щелкнул на левом запястье. Выхватил руку и тут... «Сейко»! Японские, «вечные» часы. Мечта жизни.

— Плиз, — лицо долговязого расплылось в улыбке, — презент. Плиз.

Он воровато оглянулся по сторонам и успокаивающе кивнул головой — никого. Затем ткнул пальцем в потолок и приложил его к губам.

— Ноу, здэсэ ноу. Андастенд?

Руки у меня тряслись, поэтому браслет поддался лишь с третьей попытки. Часы блестящей змейкой скользнули на сиденье.

— Плиз, — лицо его сморщилось в жалкой гримасе. — Момент. — Трясущимися руками он лихорадочно стал доставать из карманов мятые купюры...

— Забери!

Я, наверное, переборщил — он испуганно отпрянул в сторону, сжался.

— Что тут у вас? — ребята подошли вовремя.

— Да так, — я выскочил из машины, — поговорили. Вы займитесь дверцами, а я потолок посмотрю. Интересный он здесь.

Когда на сиденье хлынули тоненькие, отпечатанные на папиросной бумаге книжечки, все стало ясно.

— Ишь ты, мало показалось, — таможенник покрутил в пальцах книжечку, бросил ее в общую кучу. — Решил и на этом подработать. Людишки.

— Молодцом! — Гриша тихонько толкнул меня локтем в бок. — Класс! Как догадался?

— Секрет фирмы.

Ах, до чего же приятная у Гриши улыбка!

6. РЯДОВОЙ ВЛАДИМИР БОГОМОЛОВ

— Стой, Зорька, стой! Да успокойся ты! Вот так. Ну, маленькая

Цвирь-цвирь, цвирь-цвирь.. Пушистая белая пена подымается со дна подойника. Запах! В детдоме он мне часто снился. Руки у мамы пахли парным молоком всегда, даже когда заболела, и ладони лежали поверх одеяла тонкие, вялые, непривычно мягкие. Меня тогда это очень удивляло. Незадолго до болезни маме дали новую группу, первотелок, раздаивать их трудно, и по вечерам, смазывая руки гусиным жиром, мама плакала. Плача, жаловалась на бригадира, который гад и скотина, и я стал его ненавидеть. Пузатый, багроволицый, он суетился, распоряжаясь больше всех на похоронах, а когда все кончилось, присел на лавку в углу и громко, в голос, зарыдал.

— Ишь, гад! — зло прошипела соседка, убиравшая со стола грязную посуду. — Загнал человека в могилу, а сейчас сопли распустил

— Что ты, Степанида, — толкнула ее другая, — при мальце...

К бригадиру подошла высокая тощая баба, его жена, что-то зло сказала вполголоса и, рывком сдернув с лавки, увела.

Ночевал я у соседа, назавтра он забил окна и двери нашего дома досками, посадил меня в телегу и отвез в район — в детдом...

— Все, Зорька, гуляй. До вечера.

Опять старшина будет ругаться, что мало. И смотреть подозрительно. Станный он человек. Как можно? Говорил же, в совхозе недалеко отсюда бык есть. Нет же..

— Корову жениться поведешь! — возмутился он. — Что тут у нас, ферма? От службы тебя потом освобождать — за теленком ухаживать? А если подойдет при родах? На кого списывать, на быка, что ли?

Вот и нету молока! Подохнет... Да я этих телят! Что он понимает, городской?

— Привет доярке! А ну, покажь... Выпил половину, да?

— Отстань!

Вечно этот Устюжанин! Иди лучше за своей машиной смотри.

— Дай отхлебнуть, Богомоллов.

— Я тебе отхлебну!

Старшина. Вовремя подошел.

— Подоил?

— Так точно.

— Опять мало?

— Опять.

— О-хо-хо. Ладно. Давай, сам отнесу. А ты бегом. Не забыл, что служба?

— Нет.

— Сменишься, пулей на заставу. Баня за тобой. Воду уже привезли.

— Есть!..

В дежурке все уже было готово. Донышки патронов поблескивали из отверстий зарядной доски, рядом лежали два пустых магазина. Я взял один в руку, и патроны, мягко пощелкивая, легко скользили внутрь. Наловчился. А поначалу застревали в окне, выскакивали из пальцев, падали... Один за другим магазины скользнули в потяжелевший подсумок. Ремень автомата привычной тяжестью лег на плечо.

— Готов? — Фокушкин окинул меня придиричивым взглядом. — Жди, сейчас доложу.

Он не успел. Жедь сам отворил дверь канцелярии.

— Смирно!

— Приказываю выступить на охрану границы Союза Советских Социалистических республик! Вид наряда — часовой...

— Есть выступить на охрану границы...

С вышки обзор замечательный. Фланги просматриваются... Все спокойно. В трубу даже видно, как у поворота дозорки кормятся зайцы. Ковыляют себе не спеша. Никогда раньше не видел, чтобы зайцы пешком ходили. Здесь — пожалуйста. Кого бояться? Охотников нет, наряду не до них. Здесь еще косули есть, кабаны. Но они днем не ходят. Вот только барсук Борька вечером... Куда, до сих пор не знаю. Одной и той же дорогой, к реке. Пить? Так воды в лужах полно, а у реки обрывистые берега. Сергей как-то сказал, что Борька, как истинный пограничный барсук, отправляется вечерами наблюдать за скрытыми подходами к границе. Ты, смеется, напиши в журнале: Борька-пограничник проследовал в свой секрет. Напиши... Голову живо намылят. Жедь каждый день журнал читает.

И на сопредельной стороне пусто. Жара. Только трактор в поле пыхтит. Маленькие у соседей трактора.

А на площадке КПП! Во ребятам работы. Интересно, Сергей... Нет, нельзя. Тебя что, на иностранцев поставили смотреть? Вот.

Счастливый все-таки Сергей человек. Мама есть, служба интересная, нарушителя поймал. А тут... На участке заставы их, говорят, уже шесть лет...

— Смешной ты, Володька, — сказал он, когда я все это ему выложил. — Ну зачем он тебе, нарушитель? Без них спокойнее. Большое удовольствие, думаешь, пацана в машине найти? Сводку за полгода слышал? Шпиёны сейчас через границу не ходят. Они через наш КПП на лимузинах с дипломатическими паспортами следуют, а я им рукой к козыречку! Вежливо...

Неправ Сергей. Нельзя так. Раз тебя поставили сюда, значит, нужно. Сколько людей работает, чтобы тебя одеть, накормить, технику сделать. И все, чтобы ты тоже как положено.

Нет, Сергей не злой. Обиженный. И я бы на его месте обиделся. Приходит человек после школы на завод, где его погибший от рук бандитов брат работал, и просит: возьмите в тот же цех, к тому же станку. Ладно, говорят, возьмем. Принеси только направление из райисполкома, иначе нельзя — несовершеннолетний. Принес. А место уже заняли. Сыночка начальника цеха за пьяную драку из института выперли, вот папа и определил его, чтоб на глазах все время был. А то, что для другого это место святое — плевать.

Сергей с горя в первые же двери. И до самого призыва детали в тачке возил. И хоть бы кто из друзей Артема заступился. Проходя мимо, глаза прятали...

Я тоже хорош. Марье Ивановне неделю как отвечаю. Совсем обнаглел. На учебном так каждый день писал. Всем. Ребята из цеха на День пограничника даже открытку прислали со стихами. Как там?

Весь участок спокойно здесь спит —

На посту наш Володя стоит!

Зубоскалы. И молодцы. Все, как один, на открытке той расписались. А Миша Гоман даже пограничника с автоматом в уголке нарисовал. Я, значит. Только столб пограничный неправильно раскрасил — сине-красным. А он зелено-красный...

Стоп! Это откуда? Телефон...

— Ефрейтор Фокушкин слушает!

— Докладывает Богомоллов. Вверх по течению реки движется катер.

— Чей?

— Под советским флагом.

— А называется как?

— «Измаил».

— Пусть себе движется. Разрешение есть.

— Почему меня не предупредили?





— Не страшно. Главное, заметил. Благодарность вам, товариш рядовой, за бдительность. Несите службу дальше.

Еще и смеется. Вот расскажу Жедю... Где журнал? Так, в четырнадцать сорок пять. Скоро и на заставу. Дрова приготовил, будет банька

Вообще-то обидно. Что я, вечный часовой? Все давно самостоятельно на фланги ходят, а я.. Корова, баня, вышка, застава. Как привязанный. На фланги, конечно, труднее, но зато интереснее. Сегодня же пойду к Жедю! Нет, завтра. Сегодня баня...

7. ЕФРЕЙТОР СЕРГЕЙ ЛАНТОВ

Ну, выдался денек! Едва успели сбегать на обед, как появились сразу четыре «Икаруса» с туристами. Площадку, основательно потеснив расположившихся прямо на асфальте английских школьников, заполонили смуглые черноусые парни в модных рубашках с погончиками, тоненькие смешливые девчата. Хорошо, что рабочую куртку свою, за день замызганную, снять успел.

— Дарагой! Как служба?

Хлопнул бы я тебя по плечу! И запашок.. Успел где-то заправиться В такую-то жару...

— Гражданин, пройдите в здание вокзала.

— Э, дарагой, зачем так? Я сам на границе служил.

Все вы на границе служили. Слышали.

— Где старший группы? Вы? Скажите людям, чтобы зашли в зал. И пусть ведут себя прилично. Здесь все-таки не базар.

Может, я и зря? Ну выпил парень, может, и вправду на границе служил И я бы на его месте обрадовался.

— Что тут?

Ох, Гриша, все ты видишь.

— Так. Пограничник один бывший объявился Целоваться на радостях полез.

— Да? — в уголках глаз Кривицкого запрыгали чуть заметные искорки. — Облобызались?

— Перебьется.

— Я тоже так думаю. Заметил из какого он автобуса?

— Из первого.

— Вот и посмотрим.

— Ты думаешь?..

— Я ничего не думаю. Просто посмотрим. Сейчас таможенник им что к чему растолкует, декларации заполнят, тогда...

— Понял. А что с тем?

— Американцем.

— Да.

— Решают. Из отряда приехали.

— Фью! Важная птица?

— Разберутся.

Эх, товарищ сержант. Мне-то мог бы? Не нашего ума, конечно, мы свое дело сделали, но все-таки. Не каждый день...

— Пошли.

Автобусы смотреть — одна морока. Вон их сколько — сидений! Каждое прошупай, нагнись, посмотри... Глаза устают, пальцы устают. Вот легковые...

Оп-ля! Что это? Толстоват подлокотничек. Снимем чехол...

— Что там, Сергей?

Закладочка, что еще? Червончики. Один, два, три, четыре... тридцать. Ничего себе! Они нас что, за лопухов считают?

— Старший группы! Подойдите сюда.

У старшего лицо растерянное, руки не слушаются. Не хотел бы я сейчас на его место.

— Вы знаете, кто здесь сидел?

Это уже таможенник. Контрабанда — его дело.

— Знаю.

— Пригласите его сюда.

Кто же, интересно? Неужели девчонка, на тряпки? Жалко. А на вид такие...

Из дверей автовокзала показался старший группы и с ним весь вострепанный... «пограничник»! Ну, Гриша, ну, чекист!

— Ваши? — протянул таможенник пачку.

— Мои...

И куда только пыл подевался! Прямо обмяк весь. Я бы тебе...

— Вы ведь были предупреждены о том, что нельзя вывозить деньги сверх положенной суммы? Так?

Ну, дальше не интересно. Джинсы себе хотел купить, подарок любимой мамочке. Слышали. Не мне решать, но за границу, парень, ты наверняка не увидишь. Раньше думать надо было.

— Сергей, продолжаем...

С автобусами провозились чуть ли не до боевого расчета. Контрабанды больше не нашли, но поработать пришлось. Один бросил тень на всех. Даже Гриша ходил хмурый. Обидно, когда свой. Иностранцы — куда ни шло. Привыкли. А тут... Туристов вест тоже облетела мгновенно, никто не пытался заговорить, пошутить, как обычно. Девчата и те... Обычно окружают, расспрашивают, листочки с адресами суют. Зря, конечно. Если по всем тем адресам писать... Но

берешь, обидятся. Потом все равно забудут. За две недели впечатлений наберутся, к границам попривыкнут. Это вначале.

Перед боевым расчетом удалось выкроить свободную минуту и забежать в нашу комнатушку. Но отдохнуть не удалось. Народ готовился к расчету — чистили сапоги, подшивали подворотнички, курили, болтали. Приставали с расспросами. Говорить не хотелось — не было ни сил, ни желания. Улучив момент, присел рядом с Кривицким.

— Поработали мы сегодня?

Он кивнул, не открывая глаз. Тоже намаялся.

— Хоть бы выходной дали. Давно был?

Он молча показал растопыренную пятерню. Пять недель.

— Я три.

Не сговариваясь, вздохнули.

После ухода наших «стариков» редко кому на КПП удавалось отдохнуть. Не было возможности дать даже положенный выходной. Если рядовым, охранявшим мост, и младшим контролерам, вроде меня, еще изредка перепадало, — контролерам не выходило никак. Сменить их было некому. Сейчас, в летний сезон, они даже заболеть не имели права.

Дверь с шумом распахнулась, на пороге вырос помощник майора Лаврова лейтенант Мешков.

— Все на боевой!

Построились быстро, без обычных шуток. Строй уже вытянулся в две прямые линии, когда дверь в комнату дежурного открылась.

— Равня-й-сь! Смирно! Товарищ майор...

— Вольно.

— Вольно!

Лавров, скользнув взглядом по строю, задержал его на нас с Кривицким. Наши взгляды встретились, и мне показалось, что в глазах командира застыла безмерная усталость. А может, и не показалось... Весь день майор Лавров работал здесь, с нами. На КПП он приходит раньше всех, а когда уходит — никто не знает. Ночью выпускает наряды на границу...

— Смирно! Сержант Кривицкий, ефрейтор Лантов.

— Я! Я!

— Выйти из строя.

Мгновение — и мы стояли напротив своих товарищей

— Сегодня, благодаря бдительности, проявленной пограничным нарядом в составе сержанта Кривицкого и ефрейтора Лантова, в легковой машине иностранного гражданина обнаружена крупная партия антисоветской литературы и контрабанда. Ими же обнаружена контрабанда в автобусе с туристами, следовавшими на выезд.

Взвод, равняйся! Смирно! От лица службы объявляю сержанту Кривицкому и ефрейтору Лантову благодарности!

— Служим Советскому Союзу!

— Стать в строй!

— Есть!

— Это не все, — губы майора тронула легкая улыбка. — Вам, Лантов, в качестве дополнительного поощрения следующий день — выходной.

Я почувствовал, как напряглось плечо Гриши.

— Вам, Кривицкий, пока не могу...

Плечо обмякло. Мне показалось, что рядом кто-то легко вздохнул.

— А сейчас послушайте ориентировку...

Эгоист человек! Секунду назад я сочувствовал Кривицкому, но сейчас... О-хо-хо! Завтра отосплюсь вволю. Форму постирать только нужно, но это ерунда. Выпрошу у Устюжанина полведра бензина, потом в водичке прополощем. Химчистка. На солнце за полчаса высохнет. А там купайся, загорай!

...Когда мы миновали зеленые с красными звездами ворота заставы, я спросил Кривицкого:

— Обижаешься?

— Зачем? — пожал он плечами. — На кого?

— Давай мне свое пэша, выстираю. Заодно.

— Ладно, — сказал он после короткой паузы, — давай. А гладить не нужно.

— Чего уж там, заодно.

И оба, не сговариваясь, засмеялись.

8. СТАРШИНА АНДРЕЙ ТЯЖКО

Суббота — она и в армии суббота. В первые недели службы меня это удивляло. Казалось, на границе все должно быть по-иному. Нет разницы, какой день, на выходные ведь границу не закрывают. Так оно и есть. Но ощущение грядущего воскресенья здесь, как и на гражданке. Убирают на заставе каждый день, но в этот... И, главное, в субботу — баня.

К восемнадцати ноль-ноль все было готово. Застава сияла, как пряжка ремня солдата перед строевым смотром. Постельное белье, солдатская смена белоснежными горками лежали на койках в спальных кубриках. Больше участия старшины нигде не требовалось.

Я вышел на крыльцо. Богомолов сидел на старом ящике у двери бани, свесив между колен руки. Все готово.

Белье и полотенце в одну руку, мыло и мочалку в другую — вперёд. Услышав шаги, Богомоллов поднял перепачканное сажей лицо.

— Все? Можно?

— Так точно, — привстал он. — Пожалуйста.

— Так идем!

— Не, я подожду, — заулыбался он смущенно. — Потом.

— Ну как хочешь.

Черт, когда торопишься, даже пальцы плохо слушаются. Куртка, бриджи... Ну куда спешишь? Не убежит.

В растопленной бане в сухом горячем воздухе стоял медовый сосновый дух. Доски обшивки будто запотели, покрытые желтыми слезинками. А в парилке у нас обшивка березовая. Сами делали, этими вот руками.

Богомоллов постарался на славу. Чуть не задохнулся. Ну, не приседать! Сейчас ковшиком на камешки... Отлично.

Хорошо одному, просторно. После того, как набегит народ, здесь не повернешься. Шум, гам, воздух другой и пар не тот. Ничего, хоть одну привилегию может иметь на заставе старшина?

А теперь веничком. Эх, чтобы там ни говорили, а дуб есть дуб. Березовый веник мягче, не сечет, а массирует. От этого прямо шрамы. Но где здесь березу взять? Это ж не доски...

— Все!

Теперь полежать, отдохнуть. Заслужил...

Из предбанника донесся топот сапог, голоса, стукнула дверь, и высокий сильный голос затянул:

— За-то-пи, за-то-пи, затопи ты мне баньку по-бел-ло-му, я от бел-лого света отвык...

Дверь в парилку широко распахнулась, в проеме показалась всклокоченная голова Лантова.

— Хлопцы! — радостно завопил он. — Старшина нежится. Дадим ему пару?

— Дадим! — дружно поддержали сзади, и спустя мгновение в дверь ввалилась целая орава. Зашипели камни, вверх рванулись белые клубы пара, и парилка наполнилась свистом веников, гулками шлепками и блаженным кряхтением.

Делать нечего, пришлось спускаться вниз. В мыльной я поставил таз на бетонную тумбу, из крана хлынула горячая темная вода. В первый раз я подумал, что она просто грязная. Надо мной посмеялись. Позже и сам убедился, как хорошо мыться этой специально привозимой водой с легким запахом сероводорода, очень мягкой и скользкой.

...Уже выходя в предбанник, оглянулся — Лантов старательно тер мочалкой худую спину Богомоллова, тот даже пошатывался...

В субботу и ужин позже обычного. После боевого расчета все врвутся в баню — не остановить. Поначалу я попробовал вмешаться, приказать. Слушались неохотно. Вмешался Жедь.

— Пусть будет, как заведено, — сказал с улыбкой. — Позже поужинают. Неприятно ведь на полк с полным желудком? То-то...

Капитан был прав, и я смирился. Действительно, до боевого в баню успевали единицы. Пусть уж.. Все равно моются быстро, по-солдатски. Как приучили на учебном — за пятнадцать минут, так и сидит это в каждом. В полчаса укладываются.

Ну а после ужина — кино. Сюда никого не надо звать. В двадцать один ноль-ноль все как штык в Ленинской комнате. С киномехаником местным контакт хороший, сегодня удалось раздобыть отличную кинокомедию.

— Лента новая, смотри, — сказал механик, выкладывая круглые кестяные коробки, — не поцарапай...

— Обижает, — привычно отозвался в ответ, — все будет в порядке.

Осторожничал он зря. Полгода назад на заставе смонтировали новую установку, куда лучшую, чем в селе. Какие тут царапины!

Кинокомедия и вправду оказалась отличной. Про любовь. Студент сельхозинститута познакомился со студенткой консерватории, но случайно набрел на ее папашу-инкассатора, и тот принял его за бандита. Целый фильм они бегали друг за другом, пока все не выяснилось. Потом была свадьба, и молодые на самолете отправились в свадебное путешествие. Красивый фильм, что надо. Ребята выходили из зала с просветленными лицами. И на вечернюю поверку строились весело, с шутками. Особенно старался Лантов. Завтра у него выходной...

— Равняйся! Смирно!

Даже солдатские «Я!» звучали сегодня особенно звонко. Жедь и тот не выдержал, улыбнулся.

— Вольно, — прервал он мой доклад, придирчивым взглядом окинул строй, посерьезнел.

— Богомоллов! Где у вас ремень?

Тот не успел ответить, как капитан шагнул вперед и дернул за пряжку. Та не шелохнулась, словно влитая. Я успел заметить, как Лантов, стоявший позади, сделал неуловимое движение. Знакомая штука. Натянул сзади ремень. Не будь сегодня суббота...

Капитан, как мне показалось, тоже заметил. Но промолчал.

— Все, старшина, командуйте отбой, — повернулся ко мне.

— Отбой, разойдись.

И в ту же минуту тревожно запел сигнал системы...

9. КАПИТАН АЛЕКСЕЙ ЖЕДЬ

Ко всему на свете привыкает человек. Мерить сутки не от двадцати четырех до двадцати четырех, а от боевого до боевого, спать не ночью, а днем, и не сразу, а в три-четыре приема. Привыкает встречать рассветы и закаты с автоматом на плече, в любую погоду отмеривать десяток километров по раскисшей, скользкой дозорке, ходить каждый день у кромки Родины, по последним ее метрам. К одному лишь он не может, не имеет права привыкнуть — к сигналу тревоги. Это как почти зажившая рана, крохотная часть которой еще не затянулась и дает себя знать. Если у солдата нет этого острого чувства, он не пограничник, не имеет права им быть...

Можно простить субботнее настроение солдату. Он честно нес службу, работал до седьмого пота, а после бани расслабился, на миг перестал чувствовать на плечах погоны. Солдат, он и есть солдат. Но ты...

Позади были спокойная ночь и беспокойный день, баня и фильм, дома ждали жена и сын, а одна сработка еще ни о чем не говорила. Но я должен был, обязан был почувствовать! Вместо этого, выпустив тревожную группу на участок, спокойно отправился к себе. Пить чай. И допивал последнюю чашку, когда зазвонил телефон.

— Товарищ капитан! — голос дежурного был таким взволнованным, что я не сразу узнал его. — След!

— Какой след?

— Тревожная группа сообщила, — торжливо, путаясь в словах, стал объяснять он. — Только что, на седьмом левом. Прошли двое...

Он еще что-то говорил, а ощущение совершенного промаха уже без остатка завладело мной. На миг показалось: все замерло, остановилось, но потом будто кто тронул маятник и тот снова закачался — тик-так, тик-так...

— Леша, что случилось? — испуганное лицо Наташи появилось надо мной. — Что?

— Ничего.

Я отстранил ее. Ни ее, ни Лешки, ни этой комнаты больше не существовало. Во всем мире остался лишь этот след на злополучном седьмом; сейчас, далеко отсюда, шла погоня, и я должен был быть там.

— Крапивин!

— Я! — голос в трубке осекся.

— Подымай заставу «в ружье» Немедленно

Его короткое «Есть!» слилось со стуком двери...

10. ЕФРЕЙТОР СЕРГЕЙ ЛАНТОВ

— Застава! В ружье!

Я вскочил и машинально, еще ничего не соображая, стал набрасывать на себя одежду. По кубрику сновали тени — почему-то никто не догадался зажечь свет — топали сапоги, топот выносился в коридор и замирал вдалеке.

Внизу, в дежурке, царил толкотня. На ходу застегивая пуговицы, солдаты бежали к пирамидам, хватали автоматы, под сумки и вновь бежали... В этой суматохе лишь Тяжко казался спокойным. Невозмутимо стоял у открытой дверцы большого несгораемого шкафа и совал каждому по два снаряженных магазина. Только ощутив их тяжесть в под сумке, я понял, что случилось нечто чрезвычайное. Во время учебных тревог, а их было немало, патронов нам не давали.

...В строй я успел едва ли не последним. Две длинных, не по ранжиру шеренги уже вытянулись у крыльца, когда я с размаху плюхнулся с краю. И только тогда заметил впереди Жедея, а чуть подалее майора Лаврова и лейтенанта Мешкова.

— Застава, равняйся! Смирно!

Капитан обвел строй строгим взглядом.

— Слушай меня. В районе погранзнака... нарушена государственная граница. Тревожная группа, выехавшая на сработку, обнаружила след в сторону границы..

Я не узнавал Жедея. Он был такой, как прежде, и совсем другой. Не строгим, а властным стал голос, походка упругой, пружинистой, весь он как-то подобрался, словно барс перед прыжком. Я почувствовал, как тревожное напряжение, исходившее от капитана, овладело сердцем, налило мышцы взрывной силой. Хотелось сорваться с места, бежать, догонять... Наверное, я не один чувствовал это. Напряглось и стало твердым плечо замершего рядом Богомолова.

— Старшина Тяжко, рядовой Богомолов, ефрейтор Лантов

— Я! Я! Я!

— Рубеж прикрытия

— Есть!

Жедей помедлил мгновение, остановив свой взгляд на нас.

— Задача ясна, Тяжко?

— Так точно!

— Посматривай там И связь с заставой.

— Понял...

Нас высадили у перекрестка за селом, и ГАЗ-66, стремительно рванувшись с места, в несколько секунд исчез в темноте. Было тихо.

Село спало, даже собаки не перелаяивались, и только где-то невдалеке скрипел, качаясь на ветру, колодезный журавль. Напряжение, полученное на заставе, еще не спало, и я поймал себя, что топчусь нетерпеливо на месте.

— Богомоллов, давай связь, — первым нарушил тишину старшина.

— Есть!

Володька скинул с плеч тяжелую рацию, склонился над панелью, зашелкал тумблерами.

— «Заря», «Заря», — забормотал тихо, — я «Седьмой», прием. Есть «Заря»! — радостно повернулся к нам

— Доложи, что у нас все тихо, как у них? — в голосе старшины не послышалось волнение.

— Сейчас.

Богомоллов вновь склонился над рацией.

— У них ничего нового. Тревожная на связь не выходила.

— Отбой.

Помолчали. Заряд тревоги понемногу спал, рассеялся.

— Ребята где-то сейчас из последних сил, а мы тут...

Реплика Богомоллова была столь неожиданной, что даже Тяжко удивился.

— Раз поставили, значит, надо, — сказал, помедлив. — Приказы не обсуждают. Забыл?

— Нет.

Мне показалось, что говорил Тяжко неискренне.

— Старшина, что все-таки случилось? А?

— Сам не слышал?

— Слышать-то слышал, но не разобрался. Кто прошел?

— А я знаю? — старшина даже обиделся. — Они у меня что, разрешения спрашивали?

Снова замолкли. На этот раз ненадолго. Издалека, постепенно нарастая, как жужжание летящей по комнате мухи, приближался вой мотора.

— Внимание! — Тяжко сдернул с плеча автомат. — Богомоллов со мной. Лантов за развилку, подстрахуешь. По местам!

Вдали мелькнула золотистая точка, луч фары полоснул по верхушкам тополей у обочины, шмелиное жужжание превратилось в отчаянный стрекот, и из-за поворота прямо на наряд вылетел мотоцикл.

— Стой! — старшина сделал отмашку рукой.

Завизжала стираемая об асфальт резина, метрах в двадцати от поворота и в двух шагах от меня мотоцикл остановился. Водитель и пассажир соскочили на шоссе. Вернее, пассажирка. Тоненькая черноглазая девушка, явно школьница. И парец. Хорошо, если шестнадцать есть.

— Кто такие? — голос Тяжко показался бы суровым не только этим испуганным ребятам.

Парень залопотал что-то, Тяжко переспросил. Я понял лишь одно — ребята из села в пяти километрах отсюда.

— Чужого никого не видели?

Водитель и пассажирка закрутили головами.

— Тогда поезжайте, — сказал Тяжко и махнул рукой. — Давай.

Любители ночных прогулок заулыбались и побежали к своему мотоциклу. Спустя минуту стрекот мотора затих вдаль.

— Может, зря отпустили? — засомневался я, вылезая из кювета.

— Такие тоже могут, не смотри, что пацаны.

— Да нет, я знаю его, — старшина закинул автомат за плечо. — Помнишь, на День пограничника самодеятельность шефская приезжала? Он там был.

— Я бы все равно задержал, — подал голос молчавший до этого Богомолов. — Шляются по ночам. Небось и документов нет.

— Да уж, — засмеялся старшина, — ты бы показал класс. Гроза нарушителей...

— Тихо!

Они замолчали. И тут же в наступившую тишину вплелся дальний звук мотора.

— Еще одна парочка, — я сплюнул. — И то, не скучно.

Я ошибся. Это был не мотоцикл.

11. СТАРШИНА АНДРЕЙ ТЯЖКО

Грузовик мчался по шоссе с потушенными фарами, на полной скорости. Я едва успел разглядеть в кабине двоих, как машина, грохоча разбитыми бортами, просвистела мимо. Мы с Богомоловым едва успели отпрыгнуть на обочину.

— Ах, гад!

Лантов выскочил из кювета, вскинул автомат.

— Не стрелять!

Он обернулся.

— Старшина! Да там!..

— Откуда знаешь? Может, просто пьяные.

— Эх! Пропадем мы с тобой, старшина.

Разговаривать с ним сейчас было бесполезно.

— Богомолов!

— Я!

— Немедленно на связь. Сообщи дежурному номер и марку. Запомнил?

- Так точно.
- Действуй. Пусть перехватят.
- Перехватят, жди! — зло сплюнул Лантов.

И в этот миг вдали снова завыл мотор...

Я узнал машину издалека. Санитарная, она приезжала к нам на заставу. За рулем сидел знакомый водитель.

Санитарная остановилась, как вкопанная, из кабины выскочил шофер и незнакомый пожилой мужчина. Размахивая руками, они затараторили наперебой. Я понял лишь одно: пять минут назад двое неизвестных, угрожая пистолетом, угнали грузовик пожилого. Лантов был прав.

— Старшина! Авто водить можешь?

Я понял Лантова.

— Давай в кабину. Богомоллов, останешься здесь.

— Нет, нет! — он уцепился за дверцу так, что даже пальцы побелели. — Я с вами.

— Тогда полезай наверх.

Не стоило, конечно, его брать, тем более наверх, где и уцепиться толком не за что. Туда бы Лантова — этот и на жердочке усидит, но он со своим автоматом нужен был в кабине.

— По местам!

Я рванул с места на второй — аж в сиденье вдавило, и спустя мгновение перекресток остался позади...

Мы нагнали их километров через пять, как раз у будочки, где днем наш наряд контролировал пропускной режим. Мотаясь от бровки до бровки — водитель там был не ахти, — грузовик вырастал на глазах.

— Лантов!

— Понял.

Он откинул приклад автомата, открыл дверцу, спрыгнул на подножку. Автомат положил цевьем на опущенное стекло дверцы.

— Осторожно, смотри

— Понял.

Он приложился: две короткие очереди почти слились в одну. Грузовик словно присел — Лантов перебил оба ската.

Завизжали тормоза, и, едва не съехав в кювет, ГАЗ замер на обочине. Из кабины выскочили две тени и понеслись к темневшему не-вдалеке холму. Теперь все зависело от нашей быстроты...

12. КАПИТАН АЛЕКСЕЙ ЖЕДЬ

Один промах всегда порождает второй. Это я усвоил давно. Но живет в человеке где-то в глубине эта мелкая мыслишка — а вдруг обойдется? Не обойдется. Никто не сделает за тебя то, что должен сам...

Когда заставу подняли «в ружье», мной владело лишь одно — успеть. След шел в сторону границы, и здесь дело решали даже не минуты — секунды. «Успеть!» — толкалось в виски, и я поспешил. Знал бы, где упасть...

Тревожную мы встретили у дороги, за системой. Они бежали навстречу, и в первый миг я не понял даже, почему.

— Товарищ капитан! — подлетел ко мне запыхавшийся старший группы. — Первый след — ложный. Он сразу, а тот дальше...

Что я мог сказать ему в тот миг?

У асфальта Вулкан растерянно закружился на месте, заскулил и сел.

— Боровиков!

Можно было и не приказывать. Сержант и так знал свое дело. Но и Рекс, лучший пес отряда, не помог.

— Веером! Искать след! Тревожная в деревню: расспросите местных — может видели кого.

Сколько времени мы рыскали вдоль дороги — сказать трудно. Мне эти минуты показались часами. Вернувшаяся тревожная прояснила ситуацию.

— Давай, давай! — подгонял я Устюжанина, хотя он и так выжимал из машины все, что мог. Я понимал, что эти понукания — для самоуспокоения. Мы потеряли не менее двадцати минут Грузовик, даже самый разбитый, за это время покрывает не менее двадцати километров. Оставалась лишь одна надежда — рубеж прикрытия. Тот самый, в который ты назначил шелапута Лантова, растяпу Богомолова и уставшего, невыспавшегося после дежурства Тяжко. Они сейчас должны были исправить ошибку тревожной, командира — всех.

Двух стоящих у дороги мужчин заметили издали. Они махали руками. Устюжанин притормозил, несколько фраз...

— Давай!

Только бы они успели!

13. ЕФРЕЙТОР СЕРГЕЙ ЛАНТОВ

Бежали они отменно, куда лучше, чем ехали. Окрики «Стой!» и даже пушенная в звездное небо очередь не помогли. Черные тени перевалили за гребень холма, когда мы были еще на середине склона. В этот миг и прозвучал первый выстрел.

Поначалу я даже не понял, что произошло. Впереди коротко сверкнуло, где-то высоко над нашими головами тоненько цвикнуло. И лишь потом донесся хлопок — будто кто электрическую лампочку каблуком раздавил. В ту же секунду резкий толчок в спину сбил меня с ног.

— Лежать!

Голос у старшины свистел.

— Не видишь, что ли?

Он подполз ближе, поднял голову.

— Эй, вы, там! Сдавайтесь.

Ответом был второй выстрел.

В этот раз прицел был точнее — пуля, казалось, пропела прямо над нашими фуражками. Не сговариваясь, мы ткнулись лицами в склон.

— Слушай, — шепнул я старшине, — ты отползи и снова крикни. Я его по вспышке.

— Нет! — голос его стал жестким. — Брать живым.

— Тогда в обход?

Он крутнул головой — осмотрелся.

— Пока будем ползать — убегут.

Я это и сам понимал. Ничего глупее, чем лежать вот так и нюхать пыльную траву в двух десятках метров от нарушителей, и придумать было нельзя. Ах, черт! Не снайпер же он.

— Стой! Назад!

Крики остались позади. Длинными прыжками я летел вверх по склону навстречу красноватым, с искрами, вспышкам. Это было совсем не страшно — как в блиндаже на стрельбище, когда держал в руках мишень, а поверху вот так же цвинькали неопасные пули. Сзади прогремела очередь — Тяжко прикрывал, и на душе стало легко и по-хмельному весело.

И тут вперед меня вылетел Богомолов.

До этого он тащился где-то позади со своей рацией, но сейчас, сбросив ее, догнал и замаячил впереди.

— Уйди из-под ног! — крикнул я, и в этот миг он споткнулся и упал. Я перепрыгнул и оказался на вершине — один против двух

здоровенных верзил. Один, сморщившись, отчаянно дергал затвор пистолета — кончились патроны. В руке другого холодно поблескивал нож.

— Руки вверх!

— Сука! — первый швырнул в меня пистолетом. Едва успел увернуться.

— Руки сказал!

— А ты возьми!

Тот, что был с ножом, ощерившись, шагнул вперед. Руку он держал на отлете, напряженно — отбить не составило бы труда. Но устраивать здесь показательную схватку я не собирался.

— Брось! — всадил очередь прямо ему под ноги.

Он подпрыгнул, отбросил в сторону нож.

— Суки! — завыл, катаясь по земле. — Гады...

Здесь мы его вместе с подоспевшим Тяжко и связали...

Только разобравшись с нарушителями, мы хватились Богомолова. Володька лежал там, где упал, ничком, далеко отбросив в сторону руку с намертво зажатым в ней автоматом. Фуражка откатилась в сторону, и легкий ветерок шевелил белесый хохолок на макушке. Я перевернул тело, тяжелое, непослушное, и сразу же увидел на выгоревшей куртке расплывшееся темное пятно.

— Володька! Володька...

Я тряс его за плечи, и лицо с прилипшим ко лбу мокрым чубчиком безжизненно моталось из стороны в сторону...

— Старшина!!!

Тяжко молча отстранил меня, расстегнул куртку Богомолова, припал ухом к груди.

— Живой. Пакет есть?

— Нет.

— Тоже мне!

Он рывком сдернул с себя куртку, через голову стащил майку, резко рванул.

— Приподними.

И в этот миг тишину нарушил отчаянный лай. На дороге стояли три машины, в глазах зарябило от бежавших к нам зеленых фуражек...

14. КАПИТАН АЛЕКСЕЙ ЖЕДЬ

Мы успели.

У крыльца поселковой больницы нас ждали — дежурный сработал отлично, — Богомолова на руках внесли в приемный покой, уложили на каталку, которую тут же окружили белые халаты. Последнее, что увидел, — двое врачей по сторонам расстегивали куртку раненого, один совал ему в рот шланг кислородной подушки...

У крыльца столпились все, кто был в машине, стояли молча, и даже собаки, казалось, смотрели на меня вопрошающе — как там? Поодаль, у машины, стоял лишь Тяжко — косил глазом в кузов, где сидели задержанные.

— Едем.

Садиться неохотно, словно ожидая, что сейчас прозвучит другая команда. У крыльца остался Лантов. Он даже не пошевелился.

— Идем.

— Нет! — дернул он плечом. — Я здесь...

— Все равно ничем ему не поможешь.

— Нет! — крикнул он отчаянно. — Нет! Он же меня, понимаете, прикрыл. Я думаю, чего он вперед, всегда плохо бегал... Это я должен был, понимаете? Я... — он всхлипнул.

— Понимаю. И все-таки поедem. Автомат на предохранителе?

— Да, — он поднял на меня покрасневшие глаза.

— Вот и хорошо. Приедem, я позвоню. А сейчас надо. Понял?

— Так точно.

Он поправил ремень, мазнул рукой по глазам.

— Садись в кабину.

— Есть.

Он не спросил, почему в кабину, а я не стал объяснять. Нельзя было его сейчас к задержанным...

Машина мчалась по шоссе к заставе, свет придорожных фонарей бросал блики на суровые лица моих солдат, тихонько поскуливал у кабины нарушитель, и, настороженно кося глазом в его сторону, нервничал у колен Боровикова Рекс. Позади был трудный поиск, впереди ждала трудная ночь и не менее трудное утро...

СОДЕРЖАНИЕ

Завещание из сорок первого	5
От восемнадцати и старше	55

Анатолий Федорович ДРОЗДОВ

ОТ ВОСЕМНАДЦАТИ И СТАРШЕ

Редактор В. Я. ГОЛАНД

Художник В. Г. БОРИСОВА

Технический редактор Е. В. ЧИРКОВА

Корректор Л. М. ЕРМИЛОВА

Г-11703	Сдано в набор 25.XI.1986 г.	Подписано к печати 19.01.1987 г.
Формат 70×108 ₃₂	Физ. п. л. 3	Усл. п. л. 4,2
Цена 35 коп.	Заказ 434	Уч.-изд. л. 5,47
		Бумага типографская № 2

Типография журнала «Пограничник»

Цена 35 коп.
Индекс 70766



Цена 35 коп.
Индекс 70766



АНАТОЛИЙ ДРОЗДОВ

ОТ ВОСЕМНАДЦАТИ И СТАРШЕ